

ГЛАГОЛ



ГЛАГОЛ



АРДИС

ГЛАГОЛ Copyright © 1977 by Ardis, 2901 Heatherway, Ann Arbor, Michigan 48104. Selected, designed and typset by Ardis / CPEP. Printed by McNaughton & Gunn Lithographers, Ann Arbor, Michigan. "Flowering Judas" from Flowering Judas and Other Stories © 1930, 1935, 1938 by Katherine Anne Porter. "Shooting an Elephant" © 1936, reprinted with permission of Sonia Orwell.

ГΛΑΓΟΛ

ТЕКСТ

(фрагмент к роману "Междур собакой и волком")

Господа! в Лето от Изобретения Булавки 531-е, вечером последней пятницы ноября, часу эдак в шестом, в значительном удалении от каких бы то ни было столиц, посреди России, а вместе с тем — на краю елового бора и, в сущности, на берегу довольно-таки полноводной реки, некий незваный звонарь тянет за язык колокол, известным образом и с известной целью повешенный на одном из дерев.

Сказав это А, мы оглянулись окрест в намерены отыскать самодовлеющих оснований, чтоб с чистою совестью отложить прочь настрявшее мигом перо — да не отыскали: верша над землею высокий суд, тьма уже растиращила очи, похерила перспективы и упразднила згу. Тут бы и пуститься в отнекивание, зажеманиться, запросить отсрочки, а не то — оказаться больным, слечь — занемочь какою-нибудь куриною слепотой; увы, такое не в наших правилах. И что же? Обретаясь в этой безвыходности, вынуждены мы *volens-nolens* вымолвить Б.

Оживим же свечи. Не обнаруживая в себе сил побороть сильнейший приступ маразматического кудахтанья, кряхтя и путаясь в полах амзатараканского, отзывающегося полнейшей ветошью халата, содрогаясь от омерзения при виде многочисленных многоноожек, страдая от холода, источаемого замшелыми каменьями погреба, и увещевая икоту перейти на безропотных страстотерпцев Федота и Якова — икота, мол, икота, переходи на Федота, с Федота на Якова, etc. — выкатим на свет Божий бочку повествования — и выбьем, наконец, затычку.

Яков Паламахтеров (вот, кстати, его портрет *en grandes lignes*: субъект лет двадцати пяти-двадцати шести, причем скорее двадцати шести, нежели двадцати пяти, шатен, он довольно высок, худощав и даже, может быть, несколько сухощав лицом, что не согласуется, впрочем, с телесным его сложением: он плотью крепок, сколочен не наспех, но ежели не

8 Текст

присматриваться нарочно, легко на сей счет дать промашку; что ж до лица в деталях, то, будучи правильных и крупных черт, отличаясь от иных прямотой носа, высотой лба и выразительностью глаз и губ, оно смотрится настолько выгодно, что вы бы, пожалуй, составили себе о нем самое приятное впечатление, когда б увидели; но обстоятельства Якова сложились таким образом, что последнее, то есть, ваше с ним рандеву, представляется на редкость сомнительным, поскольку когда вы дочитаете историю до конца, если только вам достанет на то терпения, нашего героя, как выражаются авторы печальной известности записок, уже не будет в живых: чего там скрытничать! финал повествования, содержащего выбранные события и ситуации из жизни этого молодого человека, носит в его отношении характер летального исхода, не оставляя надежд насчет более предпочтительного; оттого пуще прочих снедает нас сожаление, что мы не можем представить вам тут хотя бы небольшой дагерротипический снимок Паламахтерова: ведь подобное у нас в беллетристике как-то не практикуется, а не хотелось бы нарушать традицию; да к тому же мы просто не располагаем таким документом; с другой стороны, стоит ли изощряться далее в попытках нарисовать словесный портрет, не имея к тому сколько-нибудь заметных способностей и зная наперед, что читатель спустя рукава проглядит это описание как скучнейшее из всей книги, дабы спустя немного времени, все более вчитываясь и все более забываясь и путая действительное и воображаемое, говорить себе то и дело: да, так, именно так все и было, — и, взгляดывая на себя со стороны или в зеркало, оставаться совершенно довольным своими — то есть нет, погодите, — его, конечно, его, героя, поступками и чертами; писать словесный портрет! увольте: неблагодарнейший род занятия; разве что так только, между прочим и бегло, с тою только степенью основательности, с какою прочитано будет, а с тою степенью — обернись, читатель, — он уж и даден; посему следуем далее в благодушном предположении, что, коль выйдет случай, мы для пущей наглядности и убедительности внесем в эту физиономию новые штрихи и подробности;

ну-с, поехали), Яков Паламахтеров, as a schoolboy, ужасно не любил свое имя, потому что однокашники вплоть до аттестации дразнили — ну, не то чтобы дразнили, а звали — звали его по созвучию Якоби. Хорошо, спросите вы, но неужели обзывающим не было так тошно от скуки, что они удержались от соблазна наречь его Парикмахеровым? Вы знаете, дело не в том, было им тошно или не было, хотя, разумеется, было. Несмотря на то, что повивальные бабки Обзвывания суть Стихийность и Невоспитанность, мы в ветвях его генеалогического древа легко наблюдаем такие благотворные и вкусные плоды, как вкус, наблюдательность и то, что принято называть точностью, меткостью определения. Короче, добрые имена и семена этих предков мешают Обзвыванию метить и язвить людей своим ядоносным жалом слишком огульно, облыжно, без разбору лиц и достоинств. И вот, ассонансно согласное с его фамилией и лежащее на поверхности прозвище не имело успеха, ибо не соответствовало субъекту; прозвучав однажды, оно тут и скончалось. Оно, если не возражаете, более подошло бы нам с вами — Яков же ничем не напоминал ни парикмахера, ни Парикмахерова, и вы безусловно согласились бы с этим, когда б повстречались с ним лично.

А *Якоби* на время все же увязалось за ним, но разве это — обидное прозвище, особенно если сравнить его с кличкой какого-нибудь Собакина? Сравним: если вы — Собакин, то, идя туда не знаю куда, но где любая собака знает вас по фамилии, вы сами чувствуете, что вы — как ни грустно — как раз и есть то самое, за что вас там все почитают; вы глухо, размыто осознаете, что в той или иной мере или степени, в том или ином смысле, вы — как бы там ни было, что бы хорошего о вас ни говорили, и как бы расчудесно вы о себе ни думали, вы — пусть полная индивидуальности и прекрасных человеческих качеств, пусть даже с большой буквы, но вы, вы — странно произнести — Собака, хотя и виду не подаете. Но эта наивная мимикрия в подражание *homo sapiens*, поскольку не подавать виду — это чисто человеческая способность, если не иметь в виду такой же способности некоторых других, умеющих

миметизировать животных, скажем, мембрицид или горбатых сверчков, или бразильского охотничьяго паука — см. Карус Штерн, *Эволюция мира. Werden und vergehen*, перевод С. Г. Займовскаго с последняго немецк. издания, переработанного Вильгельмом Бельше, под редакцией В. К. Агафонова. С дополнительными статьями проф. Н. А. Умнова и Н. А. Морозова. Том III. Издание т-ва Мир. Москва, Б. Никитская. № 22. Типография т-ва И. Н. Кушнерова и К°. Пименовская ул., со двора. Во дворе немощено, грязь. С подъехавшей повозки двое типографских в фартухах, вымазанных ганжой, спихивают прямо в лужу бумажные рулоны. Порождаемые их падением брызги немало забавляют работников. Ополоснувшись в луже, рулоны один за другим раскатываются по двору, одеваясь пятидюймовым слоем суглинистой жижки. Заметив безобразие и раздор из окна, что в третьем этаже, над аркой, отворяет фортуку и на всю Елоховскую бранит молодцов направленный в Москву нарочно по делам книгоиздательского т-ва "Просвещение", Невский проспект, 50, петербургский метранпаж Никодим Ермолаич Паламахтеров, прадед нашего Якова. Перед нами щеголеватый, немного слишком субтильный субъект, успевший сменить дорожное на приличествующее визитеру платье — он в модной чесучевой паре и в модном же, но не через чур, галстуке — и завернувший нынче с утра к своему давнишнему знакомцу и коллеге, который служит тут, у Кушнерова, и которого в кабинете теперь нет, но сию минуту будет назад, пошел сказать только, чтоб начинали уж в две краски, заберет корректуру да велит самовар принесть: в самом-то деле, не все ж, майн херц, д'антр-де-мер дуть.

Заслышав над головою громовые речи заезжего Зевеса, двое типографских, оставленные нами внизу, принимаются скатывать всю бумагу в иное, каковое они полагают сухим, место, еще более прежняго вымарывая и себя, и рулоны, причем движения их до крайности суетны и заставляют вас думать об новоявленном аппарате г-на Луи Люмьера, взявшего в прошлом году патент и — по слухам — выручившего за изобретение свое, получившее с чьей-то легкой руки чудное прозва-

ние синематографа, пристойную уже копейку. Привлеченный шумом, заходит с улицы во двор, изволит желтеть аксельбантами, бренчать шпорами и подниматься по черной лестнице околоточный, добрый приятель московского, а некоторым образом и столичного метранпажей, человек, как выразился бы г-н Яновский, поперек себя шире, зато отменный биллярдист, ветреник, не круглый дурак выпить, при сабле и вообще славный малый. "Ба! Ксенофонт Ардальоныч! — завидев его в дверях, восклицает ему навстречу чесучевая пара, — сколько лет!" "Много, много воды утекло, Никодим Ермолаич, — возражал Ксенофонт Ардальоныч, шествуя встреч тому с распахнутыми объятьями, — весьма рад, какими судьбами к нам в азъятчину, позвольте узнать?" Друзья обнимаются, троекратно лобызаясь. "Ну что Европа, то бишь — Петра творенье, все хорошеет?" "Да что ж, милый вы мой Ксенофонт Ардальоныч, Питер есть Питер, и этим все сказано." И поскольку Никодим Ермолаич присаживается на один, постольку Ксенофонт Ардальоныч присаживается на другой венский красного дерева стул с излишне дорогими, пусть и изящными жардиньерками, который, будучи приобретен т-вом за 9 р. с полтиною ассигнациями, немилосердно трещит при этом жестоком испытании, отчего дальнейшая целокупность деталей сего *piece of furniture* представляется рачительному Никодиму Ермолаичу eine Minute lang крайне про-м-блематичной. Впрочем, тревога оказывается, как будто, ложной, и метранпаж облегченно пускает на воздух знатный клуб дыма, что дает Ксенофонту Ардальонычу повод поинтересоваться, членом какого клуба состоит нынче его приятель, а также сортом табаку, куримого Никодимом Ермолаичем: "Гаванские предпочитаете?" Оказывается, что третий год Никодим Ермолаич имеет честь быть записан в жокейском и редкую неделю не посещает хиподрома. Что ж до табаку, то ответ был таков: "Угадали, они самые, от Боппа, в Бремене фабрикованы. Преотменные сигары, рекомендую, рекомендую и не могу не рекомендовать, просто недурственно — и легкость необыкновенная, и амбрэ, и сердчишко ничуть не огорчается. Да вот, не угодно ли отведать,

уж и обрезано". "Благодарствуйте, не любитель, — отзыается Ксенофонт Ардальоныч, — мы лучше пахитоску асмаловскую засмолим, привычка, видите ли". "Напрасно вы, извините за прямоту, пренебрегаете, напрасно, бременские ведь, их, знаете, сам Птоломей Дорофеич пользует". "Да полноте, неужто!" "Вот вам и неужто. Я, любезнейший Ксенофонт Ардальоныч, с Птоломеем Дорофеичем, как нынче с вами — и за ручку, и пардон, и мерси, то есть, необыкновеннейшего разбору души, осмелюсь доложить. Либерал, хотя и масон якобы; и поговаривают, не последний в ложе человек. На этой-то стезе они с Фролом-то Карпым и в контрах". "Вот те, бабушка, и Юрьев День, да вы, Никодим Ермолаич, слuchаем не того-с?.." "Лгать, Ксенофонт Ардальоныч, оснований не имею, за что купил, за то и продаю, а насчет гаванских и сомневаться не беспокойтесь, сам не единожды огню ему подносил". "Вы что же, и на журфиксах у него?.." "Скромничать попусту я, сударь, не охотник, — отвечал петербуржец с тем непринужденным достоинством, коего сплошь да рядом недостает не только незначительным, но и весьма значительным у нас лицам, — не держу в правилах. Что журфикссы, — отвечал он, — берите выше, я там и на приемах завсегдатай".

Тут поехали шибче. За окнами уносились названия главных прошпектов, на Дворцовой, засверкав спицами, разговор развернулся и вылетел единым махом на Невский — летел вдоль салонов и рестораций, увешанных бамбочадами, вдоль зеркальных витрин и миллионных фасадов. Оттуда скакнули в Польшу: погостили, попшекали и с шиком покатили по всем Европам. Болтали о новых часах Буре и об африканских бурах, сошлись на том, что первые слишком тикают, а вторые, хоть и бандиты, но молодцы — и не судите да несудимы будете. Заодно вспомнили о суде над ограбителями швейцарского банка и о новом большом ограблении колорадского поезда, причем Ксенофонт Ардальоныч не преминул вставить шпильку американцам: "Ох уж эти мне американцы, вечно они с ножа едят", — посетовал он. Выслушав Ксенофonta Ардальоныча мнение, Никодим Ермолаич не мог не согласиться с ним, но

по нему, Никодиму Ермолаичу, лучше уж пусть американцы, нежели англосаксы, сиречь бритты, потому как американцы — люди как люди, хоть и с ножа едят, и воду сырую по чем зря хлещут, а вот англосаксы — и люди дрянь, и одеваются не поймешь во что, и лягушек глотают, словно китайцы, а главное — длинны все, ну прямо версты коломенские, и до того костисты, что сил его, Никодима Ермолаича, никаких нет. А в Лондоне, ему рассказывали, дети такими басибузуками растут, что — слыханное ли дело — еще совсем ребятишки, а уже на аглицком выражаются.

Едва заговорили о собственно басибузуках, захвативших в последнюю кампанию до сотни наших гаковниц и прочих пищалей и варварски аркебузировавших плененных кирасиров и кавалергардов, едва коснулись до грустной темы о дюжине несчастных квартирмейстеров и вестовых из улан, драгун и от канонирского состава, взятых заложниками и потонувших на трофеиной французской фелуке, шедшей под белым флагом и подорванной под Балаклавой турецкой петардой, едва упомянули обо всем этом, как в кабинете, обремененный целым бунтом гранок, является наконец здешний главный верстальщик, обряженый в скромный флер. На вошедшем, кроме нечищенных от Эрлиха штиблет, которых неухоженность свидетельствует лишь в пользу деловых качеств их владельца, читатель обнаруживает род облачения, известного в нашем патриархальном быту как не то фижмы, не то пижмы, а может статься и вовсе брыжи. “Чего это вы, Никодим Ермолаич, — прямо с порога и несколько с упреком, только поздравившись с околоточным, произносит он, — чего это вы, как Иерихонская труба вопите, даже и в наборном слыхать”. “Помилуйте, Игнатий Варфоломеич, — оправдывается петербуржец, — вольно ж им первостатейную бумагу-с в лужах купать, разве можно-с, вы сами взгляните”. Все трое — Ксенофонт Ардальоныч, Никодим Ермолаич, Игнатий Варфоломеич — подходят к окну: работники внизу катают рулоны вдоль да поперек месива и все это, на взгляд Никодима Ермолаича, положительно ни на что не похоже. “Да-с, белью, нечего сказать,

— заключает Ксенофонт Ардашоныч, — замостить бы не грех". "Куда! — машет рукою Игнатий Варфоломеич, — да кто вам на подобные пустяки деньги даст, в наши-то времена". "А позовите полюбопытствовать, милостивый государь, чем это вам наши времена не по нраву. И потом вы что же, — кивая на гранки, продолжает дознание полицейский чин, — прокламации изволите публиковать?" "Будет вам, батенька, что за аллюзии, — укорял обиженно метранпаж, протягивая собеседнику один из листов, — это же Карус Штерн". "Еврей, социалист?" — интересуется об авторе Ксенофонт Ардашоныч, начальственно щурясь и надуваясь, но, конечно, все только так, в шутку. "Избави Бог, — отвечает Игнатий Варфоломеич одушевленно, — как раз напротив: немец и натуралист". Прочитав несколько строк, мундир небесного цвета впадает в неподдельное изумление: "Нет, вы послушайте, какую аппетитную маскировку наблюдал некто Гелди у одного бразильского охотничьяго паука, живущаго не апельсиновых деревьях". "Бразильского? — с любопытством настолько живым, что думаешь, едва ли не вся жизнь его сошлась не этом предмете, пересправливает Никодим Ермолаич, — на апельсинах?" "Головогрудь его, — цитирует Ксенофонт Ардашоныч, — стала прозрачно-белой, как парафин, между тем как фарфорово-белое брюшко выпускает семь пальцевидных желтых выростов, изображающих тычинки померанцеваго цветка". "Какое лицемерие, — восклицает невский гость, — какая низость!" "Под этим сказочным одеянием невиннаго померанцеваго цветка он успешно творит свое смертоносное дело, — читает околоточный. — Вы подумайте, господа, что за шельма!" "Чудовищно, — соглашается взъявленный петербуржец, — я не отыщу слов". "А вот еще, полюбуйтесь, — предлагает Ксенофонт Ардашоныч, — тут теперь касательно горбатых сверчков: среди горбатых сверчков, мембранид, встречается целый ряд таких, которые до иллюзии походят на загнутые назад колючки, какие носят на своих ветвях обитаемые ими легуминозныя деревья". До тех пор молча слушавший чтение и комментарии к нему Игнатий Варфоломеич решает вдруг, что пробил и его час удивить широтою

познаний: "А птичий глаз?" Вопрос местного типографщика поставлен таким ребром и глядит такою контрадикциею к общему тону беседы, что Ксенофонт Ардальоныч с Никодимом Ермолаичем даже вздрагивают, будто кто из монтекристо тут выпалил, или наоборот: подошел незаметно сзади — да и откупорил бутылку шампанского. "Вот вы все толкуете: мембрициды, пауки, а знаете ли вы, — витийствовал Игнатий Варфоломеич, — знаете ли вы, государи мои, что есть птичий глаз?" "Я более знаю, что есть писчий спазм, нежели птичий глазм, — нахохлившись воробьем, находится Никодим Ермолаич каламбуром, несколько за уши притягивая *м* к глазу, в то время как можно было пойти другим путем и усечь то же *м* в спазме, и тогда вышел бы птичий спаз, такой, выражаясь иносказательно, приятственный птичьему глазу, а нашему уху, — впрочем, следует полагать, — рассуждает приезжий полиграфист, — птичий глаз, говоря грубо и округленно, суть не что иное как глаз, с позволения сказать, птицы". "А ведь справедливо формулировано, — берется судить Ксенофонт Ардальоныч, — справедливо". "А вот и нет, а вот и дудки-с, Дудышкин, царство ему небесное, Степан Степанович, дудак бегающий, Дудергоф, и никоим-то образом не справедливо, то есть, каким-то образом, может, и справедливо, да не по тому счету плачено", — победительно отзывается Игнатий Варфоломеич, личность вообще желчная и в высшей степени самолюбивая, что совершенно простительно ввиду какого-то его внутреннего нездоровья. "Что за притча", — удивляется Ксенофонт Ардальоныч. "Объяснитесь!" — требует Никодим Ермолаич. И тогда Игнатий Варфоломеич объявляет: "Птичым глазом именуется род березового капа, произрастающего в нашем отечестве, и кап-с этот такой редкий, в силу чего и дорогой, что двери из него в вагонах Его Императорского Величества поезда оцениваются по 170 рублей каждая". Впечатление, произведенное последними словами Игнатия Варфоломеича на оппонентов, проще всего сравнить с тем впечатлением, какое возымел бы на них взрыв пороховой бочки, стой она в кабинете на месте верстальщика, и мы не видим оснований, по крайности доста-

точно веских, чтобы не разрешить себе этого сравнения. Ксенофонт Ардальоныч с Никодим Ермолаичем были буквально сбиты с позиции, они до того смешались, что на минуту сделались Ксенофонт Ермолаичем и Никодим Ардальонычем. Названная цифра сильнейшим образом магнетизирует их и во всей своей несусветной фантастичности носится перед их духовными очами. И Бог весть, долго ли еще длилось бы в их некрепких, изнеженных душах смятение, столь любезное внутренностям Игнатия Варфоломея, когда б не дворник Авдей, заспанный мужик с смоляной бородою до мутных и маленьких, словно бы птичьих, глаз и с мутной же бляхой, пришедший сказать, чтоб барин не гневались — самовар совсем проходились и оттого чаю не будет, но, мол, если угодно, то имеется боченок свежайшаго полпива, купленного по случаю у извозчика, и недорого, а именно: за полтора целковых, а ежели к пиву икорки желают, то чтоб велели сей же час к Елисееву парня на побегушках послать: как раз без дела, вон в бирюльки с гробовщиками играет. “Э, братец, да ты, я чай, не вовсе орясина”, — замечает Авдею Ксенофонт Ардальоныч, — и вскорости стол не узнать. Деловые бумаги, а также иная писчая гарнитура убраны прочь, а вместо них — три стаканки с пивом, по мере расходу пополняемые из средних размеров боченка, возвышающегося с очевидной значительностью посреди скромнаго, хоть и не лишенного изысканности набора блюд: есть немного анчоусов, фунта что ли два зернистой, шампиньоны жареные в сметане, сколько-то устриц, фунта опять же два оливок, севрюжья спинка — не цимес, но и невозможнно упрекнуть, что дурная, да дюжины четыре омаров. Вот и вся пирушка, если не считать печени с яблоками индейки, яичницы с соловьевыми языками, шашлыков, spaghetti milanese, парной барабаньей ноги, какого-то филе в желе, пирогов с говядиною и с маком, малинового киселя, горохового супу, перловой каши и взятого на сдачу в аптеке кокосового мороженого со сбитыми сливками; ну, имеется еще несколько копченостей, довольно-таки пражских кнедликов и с три короба филипповских сдоб; не обошлось и без артишоков. Кроме того, составилась партия в лото и не кто

иной как Ксенофонт Ардальоныч "кричит" нумера, не забывая отдавать должное угощениюм. "78", — сообщает он. "Милости просим", — рифмует Никодим Ермолаич, хоть у него и не выпало. "46", — говорит околоточный. "И это есть", — заявляет петербуржец, хоть у него снова не выпало. Определенно удачливее партнеров нынче Игнатий Варфоломеич, у него нередко выходит и "амбо", но чтоб не смутить Фортуну, он ставит фишечки тихой сапой и лишь изредка, при особенно выгодном стечении обстоятельств, проборматывает вынесенные из гимнасии латинские экзерсисы, отнюдь не касающиеся к настоящему делу:

"caro, arbor, inter nos,
merces, quies, seges, dos..."

А Никодим Ермолаич подслушает да и продолжит, выказывая не меньшую эрудицию:

"...и слова на -do, -go, -io,
кроме ordo и pugio"

Везение Игнатия Варфоломеича не ускользает от глаз азартного Никодима Ермолаича, и он не упускает случай высказать справедливейшее суждение, что дома и стены помогают, и буде дело не тут, у Игнатия Варфоломеича, но у него, Никодима Ермолаича, в Питере, то как пить дать на коне был бы не Игнатий Варфоломеич, а он, Никодим Ермолаич.

Через час-другой в кабинете дымно, как в будных майданах, и вся троица сильно подшафе, что побуждает членов ее к речам и поступкам на редкость легкомысленного толка. Так, от качеств бочкового пива разговор естественным образом переключается на качества российской нации и российского характера, и сам Ксенофонт Ардальоныч ничтоже сумняшеся позволяет себе рискованную параболу в том презабавном смысле, что Россия есть циклопическая Гвидонова бочка, а мы все, то бишь народ, растем в ней этаким единственным младенцем о ста миллионах душ, который не сегодня-завтра выбьет дно — и выйдет

18 Текст

вон, куда вздумается. Рассуждая так, Ксенофонт Ардальоныч входит в запальчивость и в запальчивости этой хватает полную пригоршню лотошных с нумерками деревяшечек, сработанных на манер маленьких бочек, и пускает их в бадейку с окияном малинового киселю, вот они и плавают там: 25, 42, 36... Между тем на дворе типографские Гвидоны все катают попусту бумажные тубы, столь напоминающие бочки, тогда как другие Гвидоны занимаются тем же со своими бочками на других дворах, а там — еще другие с еще другими бочками. А ведь и впрямь, ежели осмотреться, одни бочки кругом: на улицах, у киосков, на пристанях и в вокзалах, в министерствах и ведомствах, у кофеен и возле бочарен — да везде, где жив только человек русский. И уж не прав ли часом Ксенофонт Ардальоныч, не бочка ли и самое Россия. А коль скоро так, то не позволено ли нам будет воскликнуть высоким слогом *homo sapiens*, говорим мы, возвращаясь на круги своя, — читай: на несколько страниц назад — эта наивная мимикрия не приносит успеха: вас с вашим секретом полишинеля все равно видно за версту, видно, кто вы такой, вы — голый король, голая Собака, голый собачий король, и совсем худо то, что все понимают, что вы миметизируете, стараясь не подавать виду, а вы понимаете, что они понимают — и оттого еще пуще тушуетесь — и выходит совсем уж полная суета и, честное благородное слово, если бы вы были не Собака, но какая-нибудь мембрицида, трепещущая пернатых и пауков, то при таких же худых способностях не подавать виду, вас давно бы склевала какая-нибудь птица-бочка или птицеед.

С другой стороны, если вы — Яков, который догадываетесь или уверен, что он не есть дитя *chien et loup*, то вы не в состоянии вообразить себя действительно Якоби — ни в какой мере и никем из них. Судите сами, похожи ли вы на дерптского профессора гражданской архитектуры, этого дородного безусого дядьку, измучившего чиновников своими бесконечными изобретениями, всякими там гальванопластиками, электромаг-

нитами и подземными телеграфами. Или вы склонны считать себя его братом Карлом Густавом Яковом Якоби? Но в таком случае, где же ваша теория эллиптических функций? быстрее несите ее сюда! Ах так, вы — Фридрих Генрих Якоби, председатель Мюнхенской академии. Постойте, да неужто это именно ваша усадьба в Пемпельфорте под Дюссельдорфом в течение ряда лет играла роль значительного литературного центра? Тогда не сочтите за дерзость, что мы приведем цитату, взятую из вас: "Когда разум порождает предметы, они суть наши выдумки", то есть *ваши*, потому что это сказали *вы*, а не *мы*, или, если угодно, не *ны*. Однако не пасуйте перед трудностями, вы все еще имеете шанс, даже два, сдать экзамен на звание Якоби и зарекомендовать себя таковым в собственных же глазах. Вопрос только, кем быть: Иоганом или Валерианом Ивановичем. Альтернатива мучительна, выбор ответственный, варианты представляются равнозначными, вам хочется определить лучший, а мы на вашем месте плонули бы на все эти дела с пожарной каланчи на Стромынке, — и айда в Сокольники пиво пить: пиво, водка, колбаса, селедка. Или другой набор, без пива: водка, лодка и молодка. Вот это мы понимаем — выбор. А в парке тихо музыка играла. И теплынь такая, прямо невозможна, хоть в майке гуляй. Между прочим, в то время как Иоган носился с кантовыми идеями о морали, Валериан Иванович носил кунью шапку и галстук-бабочку. Ну хорошо, положим, вам не нравится в Сокольниках и вы решились быть последователем Канта. Но как же вам не скучно писать брошюры, карабкаться в Ландтаг и в знак протesta против чего-то там вступать в социал-демократическую партию, чтобы в конце концов некий марксист разрешил себе следующий полемический камень в ваш политический огород: "Этот человек слишком мудр". Нет, вы слышали: *слишком!* Да разрази его гром, этого марксиста, да разве для того вы отдали столько лет борьбе, посвятив себя и т. п. В таком разе уж лучше в Валерианы Иванычи. То ли дело, сидишь у себя дома в тепле, в шлепанцах, чубук сосешь, кофею тебе подносят, и пишешь, друг ты мой ситный, картиночки. То привал арестантов изобра-

зишь, а то постороннее что-нибудь, вроде того, где Кардинал де-Гиз показывает публике голову адмирала Колиньи. Работа не пыльная, без спешки, одну голову, небось, день целый раскрашивашь. Но тоже — как посмотретьт. Некоторые тут посмотрели и говорят: его, мол, живопись, внешне эффектная, но упадочная в основе своей, отмечена крайней искусственностью, ходульной торжественностью и поверхностной декоративностью. И спрашивается: за что только золотые медали человек получал? Теперь, выходит, вся карьера псу под хвост, а ведь академиком был. Нет, мы не можем рекомендовать ни эту должность, ни предыдущую, мы не хотим плодить бесплодных художников и слишком мудрых политиков. Успокойтесь, считайте, что вы не прошли по конкурсу. Не плачьте, смотрите: во-о-он птичка полетела. Мама, а как она называется? Это птичка-бочка, сынок. О, вы даже не представляете, как восхитительно, будучи Яковом, не быть Якоби, никем из них, даже если вас понуждают к этому обзываешьки. Всего доброго, до свидания.

Ах, как прекрасно, как прекрасно,
Не тряся лет своих напрасно,
Гремя в пыли на почтовых,
Крича в пивных на половых,
Кормить Зевесова орла
(Хвала кормящему, хвала!),
С больным сидеть и день и ночь,
Но чуть осветит утро пушки
И заорут в лесу кукушки —
Умчаться прочь.
Умчаться прочь.

Куплеты героя, пребывающего в отменном настроении по случаю провала его кандидатуры на упомянутые вакансии. Видите, как он небрежен с великими памятниками великой литературы: просто черт знает что такое. А что поделаешь — поэт:

А что поделаешь — поэт:
Чуть что — так сразу триолет.

Итак, обзывающие просчитались. Яков не потянул на действительного Якоби, но поскольку его иногда называли так, он оставался условным Якоби, так сказать, якобы Якоби. Стоит добавить, что он был Якобы и в широком толковании слова, и если бы обзывающие оказались проницательнее, они надели бы на него наряд именно этого прозвища, который пришелся бы их товарищу куда более впору. Развернув серпантин метафоры, скажем: тот наряд был бы шит словно бы очень искусственным портным, одним из тех, что честно трудятся в бедняцких кварталах, не брезгая лоскутами нищих, со щедростью добрых душ принимают от них всякую нитку, чтобы шить им мировые рубахи, и врачуют свое похмелье иглоукалыванием трясущихся рук. Рукоделам особенно удается детское, ибо они умеют мастерить навыrost с таким запасом, что иное платье не делается мало и через много лет. Справленное школяру, оно годится еще и юноше ко дню совершеннолетия и — чудны дела твои, Господи, — молодому человеку на пир во славу Гименея; да и старый мог бы еще щегольнуть в нем на собственных похоронах, когда б его, то есть платье, не потребовалось — да как несвоевременно! — снести в ломбард, чтобы заплатить нахально-му гробовщику, который напротив столь прижимист по части материала, что рассчитывает не на вырост, а на усыхание клиента, и попадись вы этому закройщику, он сварганит такую одежку, что вам — ну никак не протянуть свои набрякшие ножки по-человечески. Глупо: у людей, может быть, горе, а вы лежите, легкомысленно торча коленками. Нет, худо жить и худо умирать в бедняцких кварталах, господа.

В отличие от массы сверстников ("Не много ли отличий, — слышим мы голос критика, — нынче требуется типическое, — уверяет он, — а вы даете исключительное, выходящее из ряда вон, это не вписывается в рамки"). Пока литератор говорил так, физиономия его, и вообще тошнотворная, засаленная, подернулась слизью типического, и видом и запахом неотли-

шимой от типичной слизи типичных канализационных отстойников. Глядь, а наш ответ ему уж готов: если бы нам удалось победить в себе отвращение, мы взяли бы наждачной бумаги самого крупного зерна и надраили бы вашу фотокарточку до самоварного блеска, чтобы вам хоть раз в жизни стало нетипично), в отличие от них, Яков рос не делателем, но созерцателем жизни. Не следует, впрочем, думать, что созерцательность совершенно загородит нам другие его характерные достоинства. Нет-нет, к чему утрировать, зачем, не щадя ослепляющих красок, высвечивать лишь первые планы и не дотрагиваться к вторым, к третьим — разве затем только, чтобы прослыть наивными психологами... Нет, мы попробуем рисовать и сдержанно, и глубоко, не ленясь оглядываться на все стороны и рассуждать о самых затененных свойствах души его, и мы намереваемся создать в итоге весьма обстоятельный образ, чтобы читатели были совершенно довольны и, читая, твердили друг другу: "Кто сказал, что необстоятельно писано? Как раз обстоятельно". И добавляли бы значительно: "Книга эта самое обстоятельство есть". И мы не приложим ума, как бы нам так расстараться, чем бы таким пожертвовать, лишь бы услышать когда-нибудь нечто в упомянутом духе. "Вы пишете обстоятельно", — это ли не высшая похвала беллетристу!..

Обратите, однако, внимание: есть созерцатели и созерцатели, созерцатель созерцателю — рознь. Скажем, пожелай Яков сравниться с самыми созерцательными созерцателями, он мог бы и средь них возвыситься своей созерцательностью. Да только ему нужды не было сравниваться, он всегда созерцателен лишь в той степени, какая дается ему без напряжения сил и какую дозволяют обстоятельства созерцаемой жизни. Он чужд всякой искусственности, и ристания на поприщах чашеобразных ристалищ, этих бешено рукоплещущих, орующих, топающих и свистящих вместилищ обманывающихся человечищ, алкающих зрелищ и пепелищ и пожирающих мчащихся спицеблещущих, аки из пращи пущенных, плащеносных, мнящихся сокровищницами поражающей силици, а в сущности являющихся лишь влагалищами тщеславия, духовищества,

дрожащими настоящей мощи пуще парши и грядущего рубища, — нет, ристания не в его вкусе. Однако все это промелькнуло сейчас между прочим и, как нередко случается, не в том дело. Дело в том, что, будучи и слывя созерцателем и выбиваясь в частности этим из обычного круга мыслящих людей своего практического и безжалостного времени, он выбивался из круга и просто созерцателей этого времени, явственно тяготея к кругам созерцателей-философов, созерцателей-поэтов, поэтов от созерцания, поэтов созерцания, убежденных созерцателей и проч. И хорошо еще, что означенные круги — понятия по большей части умозрительные и не взаимодействуют наподобие сцепленных друг с другом вертящихся шестеренок, иначе они изуродовали бы молодого человека: стоило ему только остутпиться — и он угодил бы в трансмиссию. Тут же, сколько ни оступался, сколько ни падал, исход бывал всегда благополучен. Упав, получив легкие ушибы, юноша вставал, осматривался, наблюдал незнакомые прежде картины, размышлял над увиденным и переходил в следующий круг. Одно ощущение не покидает Якова в его духовных скитаниях по кругам, наоборот: оно с годами устойчивей. Яков называет его *ощущением того, что все вокруг, в нашем неразрешимом здесь, происходит и существует лишь якобы* — и оттого, пожалуй, так запутано и неразрешимо. Чувство это становится для Якова руководством к действию, а вернее — к бездействию, и на каком-то этапе шествия Паламахтеров превращается в созерцателя принципиального, созерцателя-подвижника, приобщенного тайне Великого Якобы нашего бытия. Но не воображаете ли вы, что начиная с того времени, он в прямом смысле бездействовал, бил баклушки? Да Бог с вами, господа, таких людей, чтобы совсем ничего не делали, совсем били баклушки — нигде не сыщешь, даже в России: даже в России все что-то делают, к примеру, бьют те же баклушки. Это ведь только так говорится — баклушки, баклушки... Но кто-то же и их должен бить! Это какая же Россия без баклуш! Впрочем, баклушки разные есть. Вот, если говорят о ком-то, бьющем баклушки, значит имеют в виду работника, заготавливающего обрубки дерева, чтобы затем из

24 Текст

этих обрубков производилась посуда. А ежели речь идет о бьющем в баклушки, заметьте — в, то поминают музыканта, ибо баклуша — еще и музыкальный инструмент, состоящий из металлической тарелки и на взгляд поклонников полковой музыки имеющий не меньшее право на существование, нежели пресловутая скрипка. Наконец третий ряд баклуш — особые машинные колеса, которые и в которые никто не бьет, потому что они чугунные: все руки обобьешь. "О, баклушки вододействующих машин, грузный оплот всероссийского мукомеления", — восторженно замечал Яков в одном из своих частных писем.

Василий Аксенов

СТАЛЬНАЯ ПТИЦА

повесть

с отступлениями и соло для корнета

Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится,
Тяжелый танк не проползет,
Там пролетит стальная птица.

(Боевая песня 30-х годов)

Появление героя и попытка портрета

Кажется, герой моего повествования появился в Москве весной 1948 года, во всяком случае на Фонарном переулке он был замечен именно тогда. Возможно, что он обитал в столице и раньше, никто не отрицает, может быть даже ряд лет, мало ли еще у нас осталось белых пятен на карте города.

Острый запах плесени, очень нечистого и влажного белья, почти мышиный запах поразил людей, столпившихся вокруг пивного киоска, что напротив дома № 14 по Фонарному, когда герой проходил мимо. В ноздри им шибануло разрушой и ненастьем, распадом, гниением, сумерками цивилизации. Бывалый и в прошлом боевой народ, прошедший от Волги до Шпрее, был ошеломлен — уж очень не вязался этот запах, этот знак абсурдных разрушительных сил с весенным московским вечером, с голосами Вадима Синявского и Клавдии Шульженко, с мирным фырчанием плененных "бээмвэ" и "опель-адмиралов", с отменой карточной системы, с воспоминаниями об отступлениях и наступлениях, с пивом, с ржавой, но удивительно вкусной тюлькой, с женой замминистра З., очаровательные руки которой всколыхнули штору бельэтажа буквально минуту назад.

Запах этот вязался с тем, чего не было даже в самые гибкие времена, с тем, о чем нормальный человек никогда не думает, не гадает, даже не с адом, с чем-то похуже.

Ошеломленные эпизодические персонажи нemo уставились на слабую спину моего героя, и в это время он остановился. Бывший десантник Фучинян, человек мгновенных и точных решений, и тот растерялся, глядя на героя, на бледные слегка волосатые его кисти, на две авоськи в этих кистях, на авоськи с выпирающими из ячеек клочьями желтых газет. Из авосек что-то темное капало на асфальт. Все же Фучинян решил встряхнуть народ шуткой, ликвидировать гнетущую ситуацию, сгруппировать дружков для отпора.

— Вот крысеныш, — сказал он. — Был бы котом, слопал бы, и дело с концом.

Дружки захочотали было, чуть ли не сгруппировались, но в это время герой мой повернулся к ним и остановил хохот невыразимой печалью своих глазниц, глубоких и темных, как железнодорожные тунNELи в раскаленной Месопотамии.

— Скажите, пожалуйста, товарищи, — сказал он обыкновенным голосом, от которого все же что-то дрогнуло у каждого пивника внутри, — как мне пройти к дому № 14 по Фонарному переулку.

Эпизодические персонажи молчали, и даже Фучинян молчал.

— Не откажите в любезности объяснить, — сказал герой, — дом 14 по Фонарному.

— У вас что-то капает из сеток, — глухим срывающимся голосом промолвил Фучинян.

— Немудрено, — кротко улыбнулся герой. — Это мясо, — он поднял правую руку, — а это рыба, — он поднял левую руку. — Omnia mea mecum porto, — он еще раз улыбнулся, в месопотамских туннелях забрезжил свет.

— Дом 14 напротив, — сказал кто-то. — Вот этот подъезд. Вам кого там?

— Спасибо, — сказал герой и пошел через улицу, оставляя за собой две цепочки темных пятен.

— Где-то я видел этого, — сказал кто-то.

— Я тоже встречал, — сказал другой.

— Знакомое рыло, — сказал третий.

— Довольно! — закричал Фучинян. — Вы меня знаете, я — Фучинян! Кто хочет пива — пусть пьет, а кто не хочет, пить не будет. Тут все меня знают.

И, несмотря на ужасно нервную обстановку, все стали пить пиво.

Воспоминания врача и более детальный портрет

До сих пор история с его первой болезнью и с моим участием в ней остается для меня загадкой. Во-первых, я не понимаю, как это я, в то время уже опытный клиницист и по общему мнению неплохой диагност, не смог установить диагноз, не смог даже ориентировочно предположить характер болезни. Я никогда не видел ничего подобного — не было печки, от которой можно было бы танцевать, не было ни малейшего плацдарма для развития медицинской мысли, не было никакой зацепки.

Передо мной лежало оголенное тело сравнительно молодого мужчины; подкожный жировой слой был несколько недостаточен, но в общем близок к норме; кожные покровы бледные, грязные, несчастные (помню, что я похолодел от страха, когда употребил в уме этот абсолютно не медицинский термин, но дальше дело пошло еще хуже); дыхание ровное, хрипов не прослушивалось, а только лишь прослушивался хлопотливый шепот альвеол, да с тихим чириканьем гемоглобин насыщался кислородом; сердечные тоны отчетливы и ритмичны, но все же при прослушивании мне стало ясно, что это страдающее сердце (мы, врачи, смеемся над лирическим термином "страдающее", ибо каждому мало-мальски культурному человеку известно, что духовные страдания развиваются в коре больших полушарий, но в данном случае это было духовно страдающее сердце, и мне опять стало страшно); живот мягкий и безболезненный при пальпации, но в сигмодальной кишке таилась странная игривость (это совсем сбило меня с толку); периферические кровеносные сосуды просмат-

трявались на конечностях под кожным покровом, а на правом бедре я вдруг прочел формулу крови, словно отпечатанную на бланке нашей клинической больницы: L - 6500, РОЭ - 5 мм/час НВ-98, (формула была нормальна); — словом, никаких признаков физического страдания при объективном осмотре обнаружено не было, и лишь в глазах его, в глубоких впадинах, в древнем пещерном городе, бушевали пневмония, милиарный туберкулез, сифилис, рак, тропическая лихорадка, вместе взятые.

Все это во-первых, а во-вторых, я совершенно не понимаю, почему я не отправил его в клинику, а выскочил ночью на улицу и обегал всю Москву, будоража коллег, в поисках дефицитнейшего в те времена пенициллина.

Когда, вернувшись, я склонился над ним со шприцем, в котором был драгоценный пенициллин, какая-то из бесчисленных женщин, окружавших его ложе пролепетала сзади:

— Доктор, ему будет не очень больно? Не очень, правда?

У меня у самого руки дрожали от жалости к этому существу, и ничтожный укол, который я собирался ему сделать, казался мне чуть ли не лапортомией, но все же я вспомнил о своем медицинском звании и коротко приказал:

— Перевернитесь на живот.

Мгновенно он крутанулся на живот, я даже не разобрал, усилием каких мышц было совершено это движение.

— Спустите кальсоны, — сказал я.

Он спустил кальсоны и обнажились ягодицы очень неприятного вида, они были похожи на опушку леса, где корчевали пни, а потом прошел лесной пожар.

— Бедный, — ахнули позади женщины.

Когда игла вошла в верхний наружный квадрат правой ягодицы, мой пациент задрожал сначала мелко-мелко, потом началась бурная вибрация всего его тела, что-то щелкало, клокотало у него внутри, что-то свистело, по подушке расположились пятна пота, но это продолжалось не более минуты, потом все стихло, и он успокоился.

— “Что это?” — думал я, медленно двигая поршень

шприца вперед. — "Какие же тайные цепи приковали меня вдруг к этой ужасной заднице, к этому трансцендентальному существу?"

Когда процедура была окончена, пациент сразу перевернулся на спину, и в глазах его появились желтые огни, как прожекторы приближающихся поездов. Он улыбнулся кротко, даже униженно.

— Когда будем еще колоться, доктор? — спросил он.

— Всегда, дружок, когда захотите, в любое время дня и ночи, по первому мановению вашей руки, по первому призыва, где бы я ни был, — ответил я, не шутя.

— Спасибо, доктор, — просто поблагодарил он, но у меня сразу стало тепло на душе.

— Спасибо, доктор дорогой, вы его спасли, — зашептали женщины, смыкая кольцо. Мы замолчали все, чтобы запомнить навсегда величие этой минуты.

Все-таки я не удержался и измерил ленточным метром некоторые пропорции его тела. Эти данные я долгие годы хранил в секрете, а недавно их зашифровал Комитет по координации научно-исследовательских работ.

Глава первая

Николаев Николай Николаевич, управляющий домами Фонарного переулка, был занят разбором конфликта, вспыхнувшего между жильцами 31-й квартиры дома № 14 Самопаловой Марии и Самопаловым Львом Устиновичем.

Дело было хоть и нехитрое по сюжету, по сплетениям, но жестокое, боевое, примирения не предвиделось.

Мария и Лев Устинович прежде были супружами, но лет за десять до войны разошлись из-за негумерного разрыва в культурном уровне. Управдом это хорошо понимал и сочувствовал Льву Устиновичу, уважал его за решимость и сильную волю, потому что сам вот уже четверть века тяготился низким культурным уровнем своей благоверной.

Все это было давно и былоем поросло, и теперь, конечно, бывшим супругам даже не вспоминалось, что когда-то они сплетались в нежных объятиях и забывали самое себя в порывах безудержной взаимной страсти. Теперь они сидели перед Николаевым и смотрели друг на друга с тяжелой застоявшейся недобротой. Надомница Мария была грузная и темная лицом, а зав. парикмахерским цехом Лев Устинович как раз наоборот — суховат и светел.

Самопалов тогда же, лет десять до войны, ввел в свой дом Зульфию, женщину восточного происхождения, и прижил от нее четырех мальчишек-чертенят, а Мария все эти годы бедовала с первенцем Самопалова, дочерью Агриппиной, оставила она ее при себе, воспитала и сделала помощницей в своем нелегком надомном ремесле.

Суть конфликта сводилась к жалобе Льва Устиновича на то, что Мария, прежде промышлявшая безобидным вышиванием, теперь завела себе ткацкий станок, который своим стуком, естественно, не создает Самопалову и его семье условий для отдыха никаких. Аргументы сторон были все уже исчерпаны, кроме главных козырных, которые были припрятаны про запас, и теперь стороны обменивались только ничего не значащими репликами.

— Обормоты вы, Лев Устинович, — говорила Мария.

— А вы, Мария, себялюбец, узкий эгоист, — парировал Самопалов.

— Ваш Сульфидон стучит погромче моего станка, когда о стенку вас головой-то колошматит.

— Боже мой! — задохнулся от негодования Самопалов.

— Какая клевета! И потом я запретил вам, Мария, называть Зульфию Сульфидоном.

— А дитяти ваши как вечерами базлают? — не унималась Мария.

— А ваша Агриппина как ходит, полы дрожат! — воскликнул уязвленный Самопалов.

— Моя Агриппина такая, как голубица, а вам, Лев Устинович, к сигналам прислушаться стоит — харкаете по утрам

в туалете и производите звуки, аж на кухню не пройти.

— Неправда!

— Правда!

— Дети! — позвал Самопалов, и в кабинет управдома сразу вбежали четверо смуглых его пареньков, лучшие физкультурники дома № 14.

— Агриппина! — крикнула Мария, и в кабинет, переваливаясь, вкатилась невероятно пышная блондинистая ее дочь, лицом — вылитый Самопалов.

— Стыд — позор, Лев Устинович, — затараторила она, — как вы нас с матушкой притесняете в коммунальном вопросе, сил никаких нет.

Дети Самопалова от Зульфии Иван, Ахмед, Зураб и Валентин, крича, обступили Агриппину, и управдом Николаев не мог уже разобрать ни единого слова.

Ситуация, возникшая в 31-й квартире, угнетала Николая Николаевича невыразимо своей безысходностью, вся эта буря страстей вызывала в нем только печаль, но, боже упаси, чтоб он выказал эту печаль и тревогу, ведь он был администратор, воля и страх, слово и дело Фонарного переулка. Как он мог помочь этим людям, к чему он мог их призвать? Термина "мирное сосуществование" в то время не было. Единственное, что он мог сделать — посадить кого-нибудь из Самопаловых в тюрьму, но это, как ни странно, даже в голову ему не пришло. Что же делать, что предпринять, на кого опереться? Роль общественности в то время, как известно, была сведена к нулю: разделять и властвовать, кнутом и пряником, как там еще.

— Замолчали, — негромко приказал он, и все Самопаловы замолчали, потому что знали — Николай Николаевич, хоть и медведь с виду, но бывает крут, а порой и своенравен.

— Я вам приказываю с сего дня прекратить раздоры и бои, — сказал жестко управдом и добавил уже мягче, с внутренней улыбкой. — Все ж-таки родственники.

— А как же ткацкий станок? Поломать надо ткацкий станок! — рванулся было горячий Иван, но более рассудительный Ахмед его остановил.

— Товарищ управляющий домами, — обратился Самопалов, пуская в ход запрятанные козыри, — ткацкий станок, как мне кажется, это типично капиталистическое средство производства, а в нашей стране, как мне кажется...

— Ах, Лев Устинович! Ах, какой-сякой! — вскричала Мария, поняв смысл его выступления, — сами-то держите ваши средства и клиентов на дому принимаете, и замминистра у их в квартире броете, халтурите налево, а бедную вдову под монастырь хотите подвести!

— Позвольте, какая же это вы вдова? — возмутился Самопалов. — Я ведь еще, кажется, жив. Среди моих жен вдов еще покамест не было.

— Мамички справка есть из артели на станок, — заревела белугой Агриппина.

— Все равно не отдам станка, хоть со справкой, хоть без справки, — заявила Мария. — Я советский человек и станочки своего любимого не отдам. Сталину буду писать, отцу нашему.

— Не сметь! — закричал тут у правдом, не на шутку рассердившись. — Не смейте упоминать имя генералиссимуса Сталина все! Это что еще такое? Только и дело Иосифу Виссарионовичу до ваших склок, до вашего станка дурацкого.

Ссора затихла, и Самопаловы покинули помещение конторы.

Николай Николаевич, отгоняя печальные мысли, навел на своем рабочем месте элементарный порядок, закрыл контору и отправился домой. Жил он в том же доме № 14, что и Самопаловы, построенном в 1910 году, а посему облицованном светящимся на закате кафелем. Дом имел шесть этажей, один парадный подъезд с вычурным козырьком над ним, действующий, хотя и дореволюционный лифт, центральное отопление, телефоны и прочие удобства. Было в доме 36 квартир и 101 ответственный квартиросъемщик. Словом, этот дом был гордостью Фонарного переулка, да и во всеарбатском даже масштабе он был явлением значительным.

Отужинав, просмотрев "Вечерку" и покормив роскошных своих вуалехвостов, Николай Николаевич сел на тахту,

извлеч из чехла корнет "а" пистон и крикнул жене:

— Клаша, замкни!

Жена, привыкшая к таким командам, ничего не спрашивая, замкнула входную дверь и навесила цепочку. Николай Николаевич поднес к губам инструмент и тихонько нежнейшим образом стал выводить мелодию "...И по эскадронам бойцы-кавалеристы, подтянув поводья, вылетают в бой".

Тут следует открыть маленькую тайну Николая Николаевича. До войны он был солистом духового оркестра в ЦПКО им. Горького, а в военные годы, хоть и рвался на передовую, был зачислен в оркестр фронта. Игра корнетиста Николаева многих военачальников привлекала чистотой и мажорностью звука, и поэтому он дослужился к концу войны до майорского звания. Гвардии майор. Выйдя в отставку, он понял, что обратного хода ему нет, — не может, не имеет права гвардии майор быть каким-то легкомысленным корнет "а"-пистонщиком, хоть в ЦПКО, хоть даже в оркестре Большого театра. Перечеркнув свое прошлое, Николаев явился в райком и попросился на руководящую работу. Так он стал управляющим домами. Естественно, никто из жителей Фонарного переулка не знал о прошлом Николая Николаевича, а те, кто слышал по вечерам чистые мажорные звуки, воображали, что это радио.

Правда, стал иногда Николай Николаевич сбиваться на минор: такая уж работа, кого хочешь может настроить на невеселые размышления, а то и на философию. Да ведь и сами эти вечерние потайные упражнения стали предметом тоски Николая Николаевича, предметом воспоминаний о звонкой веселой жизни, о задорном коллективном труде, к которому ему мешало вернуться звание гвардии майора.

Николай Николаевич был музыкантом высокого класса и достиг уже такой степени сближения со своим инструментом, что иногда корнет "а" пистон начинал выражать столь глубокие мысли и чувства своего хозяина, которым обычно управдом Николаев не давал хода и о которых даже порой не подозревал в своей жизнедеятельности.

Вот и сейчас с целью отвлечения от печали Николай Николаевич начал исполнять жизнерадостную кавалерийскую песню, но не заметил сам, как перешел на странную и не очень-то веселую импровизацию.

— “Как же получилось, как же оказалось, почему в раздоре Само-па-ло-вы?” — пел корнет. — “Бедный, бедный Сталин, вождь ты мой несчастный, батюшка родимый, милый удалец”.

Тут следует заметить, что Николай Николаевич помимо обычного для того времени сыновнего уважения к Сталину и преклонения перед его гениальными качествами, питал еще к вождю самую обыкновенную жалость, т.е. относился чуть ли не по-отечески, как к своему ребенку, отторгнутому от родителей бесчеловечной судьбой, или как к сироте. Иногда ему казалось, что вождя совсем замытили его соратники и министры, а также 220 миллионов советских людей плюс все прогрессивное человечество. Конечно, чувств этих он боялся, таил их, но вот иногда они вдруг вырывались через корнет “а” пистон.

— “Люди, дорогие, вы не крокодилы, отчего чураетесь дружбы и любви? Тетушка Мария, свой станок несчастный запускай потише, не мешай другим. Дорогой парикмахер, милый Самопалов, вспомни, как Марию нежно ты ласкал, вспомни про дитятю, подели жилплощадь, законы общежития соблюдай во всем. Не пиши ты Сталину, милая Мария, не мешай несчастному думать и творить. Пожалей, голубушка, знаменосца мира, милого, родимого сына и отца”, — так пел корнет.

— Тема вождя у вас великолепна, — сказал кто-то за спиной Николая Николаевича.

Трудно, невозможно описать состояние Николая Николаевича в следующий момент. Физические его действия были крайне неприглядны: во-первых, он выронил корнет, во-вторых, упал на пол, в-третьих, пукнул, в-четвертых, попытался спрятать свой инструмент под валик тахты и наконец только в-пятых — обернулся.

Перед ним в нерешительной позе стоял человек с двумя авоськами в руках. Из авосек что-то темное капало на паркет.

— Что? Что вы сказали? — воскликнул Николай Николаевич.

— Не волнуйтесь, — сказал человек, — я просто сказал, что вы очень трогательно и оригинально выразили тему вождя. Такой трактовки я еще не слышал.

— Откуда вы знаете, что я выражал? Что это за парадоксы?

— Просто я понимаю и люблю музыку, — очень серьезно сказал человек с авоськами.

— Значит, вы понимаете язык моего корнета? — Николай Николаевич все еще вел диалог на повышенных, чуть ли не визгливых тонах.

— Да.

— Вы композитор?

— Нет.

— Кто вы такой?

— Я Вениамин Федосеевич Попенков.

Николай Николаевич замолчал и уставился на пришельца. Тот стоял перед ним, субтильный, нечистый и очень вонючий, в затертой бахромчатой пиджачной паре, однако, из хорошего довоенного сукна "ударник", в гимнастерке под пиджаком, человек без единого ордена или планки, но с двумя довоенными значками — "МОПР" и "ворошиловский стрелок". Николай Николаевич больно ущипнул себя сзади — все напрасно, это была тяжелая роковая явь.

— Поймите, — прервал тишину тот, кто назывался Попенковым, — то, что вы играли, очень близко мне. Это моя жизнь, мои чувства, мои страдания. Возьмите этих Самопаловых, к которым так трогательно обращался корнет, я их не знаю, должно быть это прекрасные, прекрасные, (прекрасные! — выкрикнул он) люди, но неужели они не могут поладить? А то, что вы играли о Сталине, это вот здесь, — он указал подбородком на область сердца.

— У вас что-то капает из сеток, — мрачно сказал Николай

Николаевич, в душе его дрогнули все струны.

— Немудрено, — кротко улыбнулся Попенков. — Это мясо, — он поднял правую руку, — а это рыба, — он поднял левую руку. — Omnia mea mecum porto, в переводе — все мое ношу с собой.

— Вы из заключения? — спросил Николай Николаевич. Надежда на спасение еще теплилась в нем.

— Нет, — ответил Попенков, — с врагами народа никаких, даже родственных связей не имею.

Николай Николаевич почувствовал себя раздавленным, жалким, почти голым, почти рабом.

— Что вам угодно? — все еще хмурясь, цепляясь все еще за свою должность, спросил он.

— Николай Николаевич, товарищ Николаев, — жалобно заговорил Попенков, — я к вам не только как к человеку, не только как к музыканту, но и как к управляющему домами. Вы прекрасный, прекрасный, (прекрасный! — гаркнул он) человек!

Тут он присел и взглянул снизу на Николая Николаевича глубокими впадинами своих глаз, и словно жар пустыни коснулся Николая Николаевича, такова была печаль этих глаз. В следующий момент Попенков, оставив на полу авоськи, подпрыгнул высоко, даже, пожалуй, слишком высоко, бешено потер руки и приземлился.

— Николай Николаевич, я прошу приюта, кровя, крыши над головой в одном из вверенных вам домов.

— Но вы же знаете о паспортном режиме, — жалко пролепетал Николай Николаевич, — и потом куда же я вас поселю, все и так заселено сверх мочи.

— Николай Николаевич, я раскрою карты, я расскажу вам все, — быстро заговорил Попенков. — Я шел сюда издалека, я много пережил, я летел сюда, подгоняемый верностью и любовью к одному человеку. Вот уже год... то есть, простите, вот уже неделю я живу в котловане Дворца Советов. И вот, наконец, я нашел в себе мужество прийти к нему. Карты на стол — я говорю о замминистре товарище З.! Дело в том,

милый Николай Николаевич, что я несколько раз спасал З. жизнь. Я жертвовал собой ради него, и он говорил мне: Вениамин, приезжай ко мне, будешь моим другом, братом, частью меня самого. И вот я пришел, и что я вижу — жена, молодая красавица, красавица, (красавица! — выкрикнул он), антикварные гарнитуры... Я очень обрадовался за него. Но З. меня не узнал, больше того, он даже испугался меня. Я не понимаю, как можно пугаться меня, маленького жалкого человека. Короче, З. показал мне на дверь. Поверьте, я не осуждаю его, З. — замечательный, замечательный, (замечательный! — крикнул он) человек, я понимаю его — ответственный участок работы, умственное и физическое перенапряжение, молодая жена, и т. п., но что мне теперь делать, ведь это была моя последняя надежда.

Попенков снова присел на корточки и глянул на Николая Николаевича снизу вверх, и если бы управдомами имел хоть небольшое представление о географии нашей планеты, он сравнил бы печаль его очей с древней печалью Месопотамии или выжженных солнцем холмов Анатолийского полуострова. Но поскольку у него не было предмета для сравнения, неопосредствованная печаль этих очей подействовала на него сильнее, чем на какого-нибудь ученого географа или историка.

— Вот вы говорите, что страдали, что жили в котловане, и все-таки я не знаю где вас поселить, — дрожащим срывающимся голосом сказал Николай Николаевич. — Ведь вы понимаете, я не могу резонно повлиять на З., ведь это птица не моего полета...

— Да-да, и не моего тоже, — поддакнул Попенков.

— Он и живет-то у нас просто, знаете ли, из своего рода чудачества, да еще из-за того, что жена его любит дореволюционные лепные потолки, по сути дела он живет здесь, на Фонарном, просто из-за своего демократизма, и я уж не знаю как с вами-то быть, товарищ Попенков, — Николай Николаевич растерялся вконец.

— Да вы не смущайтесь, — ободрил его Попенков, — я ведь не прихотлив. Любое подсобное помещение. К примеру,

ваш подъезд, он обширен и прекрасен...

— В подъезде нельзя, участковый, знаете ли, очень суров. На дворников я еще могу повлиять, но участковый...

— А-та-та-та-та-та, А-та-та-та-та-та, — звонко щелкая языком, задумался Попенков. — А-та-та-та-та-та... Лифт! Ваш отличный просторный лифт! Меня бы это вполне устроило.

— Лифт — место общего пользования, — пробормотал Николай Николаевич.

— Ну, разумеется, — подтвердил Попенков, выпрямляясь. — Поверьте, я никому не буду мешать. Вы мне дадите раскладушку, и я буду ставить ее в лифте только тогда, когда удостоверюсь, что все в сбore, что все птички уже в гнездышках, а в шесть утра я уже на ногах и лифт к общим услугам. В случае крайней ночной надобности, скорая помощь, или, скажем, из органов товарищи придут, я моментально освобождаю лифт, выпархиваю из него. Идет? Ну? Ну, Николай Николаевич? Я вижу, вы уже согласились. Ну, последнее усилие. Вспомните, дорогой, о чем пел ваш корнет "а" пистон. Люди дорогие, вы не крокодилы, отчего чураетесь дружбы и любви...

— Ну, хорошо, раскладушку я вам дам, но вы уж извольте помнить, что лифт — место общего пользования, — зарорчал Николаев, всегда он так ворчал, когда шел кому-нибудь навстречу. — Пойдемте, товарищ Попенков.

— Подождите! — воскликнул Попенков. — Давайте помолчим. Такие минуты надо фиксировать.

Николай Николаевич в полной уже расплывчатости, словно под гипнозом, молча зафиксировал эту минуту.

Затем они вышли в переднюю. Клавдия Петровна выглянула из кухни и замерла, открыв рот, глядя, как муж ее лезет на антресоли за раскладушкой. Попенков скорбно взирал на нее уже с лестничной площадки.

— Вот вам раскладушка, — буркнул Николаев. — Учтите, рассчитана только на одного: пружины слабые.

— Николай Николаевич, вы прекрасный, прекрасный, (прекрасный!) человек. — Попенков с раскладушкой под мышкой стал спускаться.

— Скажите, а как вы попали ко мне? — спросил вслед Николаев.

Попенков обернулся.

— Обычным путем. Да вы не волнуйтесь, Николай Николаевич, о вашем корнете я никому. Ни гу-гу, могила. Ведь я понимаю, у каждого есть свои маленькие тайны, вот я например...

— Вы уж меня, пожалуйста, в ваши тайны не посвящайте, — мрачно сказал Николаев, покосившись на авоськи, из которых продолжало что-то капать.

Закрыв дверь он напустился на Клавдию Петровну.

— Ты что же, мать, двери не закрываешь, когда тебя просят?

— Коля, дружок, побойся бога, замкнула я, как взялся ты играть, и цепочку навесила.

— Что же он в окно влетел что ли?

— В самом деле, — ахнула Клавдия Петровна, — не в окно же. Может и впрямь я запамятаю, закрутилась по кухонным вопросам. Старею, Коля, склероз, видать... А кто таков-то?

— Из органов, — буркнул Николай Николаевич, чтобы пресечь дальнейшие расспросы.

Супруга у него была натренированная и затихла.

В этот вечер некоторые из жильцов, проходя в лифт, замечали в темном углу парадного скорбную фигурку с двумя авоськами и с раскладушкой, а некоторые проходили, не замечая. Попенков приветствовал жильцов смиренным наклонением головы. Когда последний жилец, легкомысленная Марина Цветкова, ловко ускользнув от провожающего офицера, поднялась в лифте к себе на этаж, и когда офицер перестал колбродить по подъезду и возмущаться коварством Марины, Попенков опустил лифт, поставил в нем раскладушку, поел немного мяса, немного рыбы и принял горизонтальное положение. В этом положении он с чувством глубокой благодарности

подумал об управдомами Николаеве, с легкой симпатией о Марии Самопаловой, которую знал пока только по песне корнета, с легкой укоризной о замминистре З., с легким волнением о его молодой красавице жене, с легкой игривостью о быстроногой Цветковой Марине, а затем погрузился в мечты.

Мечты его были необузданы, почти фантастичны, но о них мы пока распространяться не будем, скажем только, что если для всех людей сон — это сон, со сновидениями или без, то для Попенкова сон — это как бы своеобразный разгул мечты.

Утром, ровно в 6, Попенков очистил лифт и встал в своем углу, смиренно приветствуя выходящих из дома жильцов. Так было на следующий день, на третий, на пятый, на десятый...

Естественно, поползли всякого рода слухи, домыслы, предположения, но в конечном счете все это стекалось в домовую контору и там останавливалось.

Между Николаевым и замминистром З. произошел разговор такого рода.

— Послушайте, товарищ майор, — сказал З., — этот тип из подъезда, он ничего вам обо мне не говорил?

— Он говорил, что не раз спасал вам жизнь, — ответил Николаев.

— Очень многие люди спасали мне жизнь, но вот этого я что-то не помню, — задумался З., — нет, решительно не помню.

— Может быть еще спасет, — предположил Николаев.

— Вы так считаете? — опять задумался З. — А он не опасен? А то, знаете, сам я не из трусливого десятка, но милиционер мой волнуется.

(На площадке замминистра постоянно дежурил старшина милиции Юрий Филиппович Исаев).

— Я думаю, он не опасен, — сказал Николаев, — что в нем опасного? Несчастный человек, тонкий, разбирающийся... в искусстве.

— Ну тогда пусть, — махнул рукой З.

Вот собственно говоря и все, на этом заканчивается

первая глава. Следует только еще сказать, что к Попенкову скоро все привыкли, а многие даже прониклись сочувствием. Вскоре он стал вхож в некоторые квартиры.

Он умел слушать людей, сопереживать, и довольно большая часть жильцов раскрыла перед ним свои души. Правда, рабочий класс во главе с водолазом Фучиняном косился на Попенкова и близко к себе не подпускал.

Справка техника-смотриеля

Двойная дверь дома № 14 открывается наружу, ширину имеет 3 метра 52 сантиметра, высоту 6 метров 7 сантиметров. Дверь изготовлена из древесной породы, называемой "дуб", имеет с двух сторон медные ручки в виде пресмыкающегося животного "змеи".

Над дверью имеется фонарь в сетке из цветного металла, сетка состоит из 24 ячеек, лампочка (100 в.) цела.

Примечание. Дубовая поверхность обеих створок двери имеет резное изображение виноградного фрукта, сильно пострадавшее в нижних частях. В трех сантиметрах от наружной ручки вырезанная острым предметом надпись из трех букв скрыта тремя параллельными надрезами по приказанию домовой конторы, однако, при внимательном рассмотрении читается.

Пройдя через двери, мы имеем перед собой овальное помещение, т.н. парадное, площадью примерно 178,3 кв. метра. Цифра приблизительна, поскольку точную квадратуру овала измерить столь же трудно, сколь квадратуру круга. Высота куполообразного потолка "парадного" в высшей точке 16,8 метра. Пол представляет кафельную мозаику ориентального, точнее мавританского характера (консультация в Институте востоковедения). Пол имеет повреждения плиточного фонда в размере 17,2% к общему числу плиток.

С потолка свисает на металлическом шнуре люстра-

плафон в виде древнегреческой амфоры с ручками (консультация в Музее им. А. С. Пушкина).

Бездействует и представляет собой угрозу для жизни, ввиду износа шнура, но в связи с отсутствием в домовой конторе соответствующих лестниц-стремянок (12 м) не может быть ликвидирована для передачи в музей.

Освещение "парадного" осуществляется через посредство четырех плафонов, по два с каждой стороны, каждый плафон имеет по три патрона для электроламп. Из двенадцати ламп действуют восемь. Свет рассеянный, мутножелтый. Дальний правый плафон поврежден (разбит) с левого угла, отчего образуется луч, упирающийся в нишу, расположенную по левую руку от двери на расстоянии 1,25 метра от последней. Ниша имеет сводчатый верх, высоту 2,5 метра, ширину 1,5 метра. Ранее в нише помещалась полая чугунная скульптура императора Петра 1, от которой сейчас остались лишь сапоги высотой 1,1 метра, именуемые еще ботфортами (консультация в журнале "Октябрь").

Окраска стен на уровне 1,6 метра — темносиний колер, масляная краска с применением олифы. Выше и по всему куполу фрагменты сильно пострадавших фресок (1914 г. н.э.), как-то, кудри, конечности, складки одежды, женские молочные железы и т.п., элементы древнегреческой мифологии (консультация в журнале "Октябрь").

Примечание. Справа и слева по стенам на темно-синем фоне имеются меловые надписи и рисунки, затертые по приказанию домовой конторы, хотя никому данные надписи и рисунки не мешали.

Дневное освещение "парадного" осуществляется через посредство шести окон с цветными витражами, по три окна с каждой стороны. Окна стрельчатые, высотой 4,5 м, шириной 0,5 м, расположены на высоте 0,7 м от пола на расстоянии 0,8 м друг от друга. Витражи левой стороны отражают ориентальный, точнее японо-китайский сюжет, как-то: гейши, рикши, водоносы, чайные домики, канонерские лодки (консультация

Общества Советско-китайской дружбы).

Окна правой стороны отражают средневековый франко-германский сюжет, как-то: рыцари, менестрели, прекрасные дамы, животные, лошади, холодное оружие (консультация Общества Советско-французской дружбы). Нижняя часть второго левого витража укреплена листом фанеры размером 0,5 м x 0,9 м, нижняя часть первого правого витража укреплена картоном 0,5 x 0,9.

Помещение отапливается — вдоль стен расположены четыре калорифера центрального отопления по три секции каждый.

В глубине овального помещения имеется шахта лифта с находящимся внутри действующим лифтом. На дверях лифта укреплены четыре эмалевых белых таблички 0,2 x 0,4 с черными буквами. Объявления гласят: "берегите лифт — он сохраняет ваше здоровье", "сначала выгрузите детей, потом выгружайтесь сами", "с собаками проезд воспрещен", "лифт — не уборная!"

Внутренность лифта представляет собой коробку площадью 4 кв.м., высотой 2,5 м, покрашенную в коричневый цвет, с зеркалом прямоугольной формы, зигзагообразно расколотом в 1937 году.

Справа от лифта начинается первый марш беломраморной лестницы, насчитывающий тридцать восемь ступеней, из которых повреждено шестнадцать. В самом начале лестницы укреплена полая чугунная фигура высотой 1,25 м не определенная специалистами никак. В правой руке фигуры имеется фонарь, который некоторые жильцы пытаются использовать как мусорную урну, тогда как знают прекрасно, что фонарь прикреплен наглухо, не переворачивается и что же получится, если мусор заполнит его до краев?

Партия корнета "а" пистона

Тема: Здравствуй, столица, здравствуй, Москва!

Здравствуй, московское небо! В сердце у каждого эти слова, как далеко бы он ни был...

Импровизация: Бедный, несчастный, лежал в котловане, долгие годы страдал. Спас замминистра и им же был изгнан, где ж благодарность тогда? Нет справедливости, нет справедливости, могут птенца загубить. Бедный вонючий ужасный прохожий, кто ты таков наконец? Есть ли прописка, имеешь ли маму, паспорт имеешь ли ты? Птенчик ужасный, живи в своем лифте, только молчи про меня. Если расскажешь, мне будет ужасно, я замолчу навсегда. Бремя ужасное авторитета давит и ночью и днем. Пост в руководстве — дело большое, дело — ужасное есмь...

Внезапный конец партии: Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река, кудрявая, что ж ты не рада веселому пению гудка?

Глава вторая

Что случилось? Что стряслось? Стук и крик по всем этажам, ночной аврал в доме № 14 по Фонарному. Старшина Юрий Филиппович, обомлев от страха, забарабанил в дверь З., ввалился в квартиру и задрожал в объятьях замминистра.

— Что с вами, Юрий Филиппович? — спрашивал З., полчаса назад вернувшийся с ночного совещания. — Что случилось?

— Не знаю, батюшки родимые, не знаю, матушки родимые... стуки, крики, — бормотал Юрий Филиппович.

Оставив своего стража супруге, З. рванулся за заветным браунингом.

Дети Самопалова горохом посыпались с шестого этажа. Мария с перепугу повесилась на шею Льву Устиновичу. С другой стороны его схватила Зульфия. Лишь Агриппина, на что теха-матеха, тут же вооружилась шкворнем в готовности защищать ткацкий маменький станок.

Доктор Зельдович с пятого этажа вышел на площадку

уже одетый, в пальто и теплой шапке, с чемоданом. Семейство его тоже подготовилось в течение нескольких минут.

А началось все с того, что легкомысленная Марина Цветкова пугливой антилопой принеслась по четырем маршрутам беломраморной лестницы и чуть не сорвала с петель двери квартиры Николая Николаевича.

Николай Николаевич в это время, в глухую ночь, сидел в туалете и, таясь уже от собственной семьи, занимался со своим корнетом. Под сурдиночку, почти беззвучно. Партия корнeta была прервана безбожным невероятным стуком и громом.

— Товарищ Николаев! — кричала Цветкова.

— Этот! ваш! протеже! там! в лифте!..

— Что с ним? — медведем заревел Николаев.

— В судорожном! состоянии! — расширяя и без того огромные глаза крикнула Цветкова.

— Спасайте, люди добрые! — панически заревел корнетист.

Весь дом был разбужен, и все устремились вниз, кто в пижамах, кто в халатах, кто в кальсонах, кто в чем. В одну минуту весь вестибюль был запружен гудящей толпой, было похоже на римский Форум. Те, кто пробился поближе, видели в раскрытых дверях лифта извивающегося на раскладушке Попенкова.

— Доктора! Врача! Товарища Зельдовича! — кричали в толпе.

По образовавшемуся коридору к лифту направился доктор Зельдович, и тут судороги прекратились, Попенков затих, вытянув руки по швам.

Неприятное событие (судороги, острый недуг), произошло уже через несколько месяцев после вселения Попенкова в лифт. До этого жизнь дома протекала сравнительно мирно, спокойно, почти без сучка и задоринки, во всяком случае без внешних треволнений.

Как уже было сказано, жильцы быстро привыкли к

смиренной фигуре с раскладушкой, терпеливо стоящей в самом темном углу вестибюля возле калорифера. А фигура тем временем осваивалась с новым местожительством.

Прежде всего нужно было освоить вестибюль, разобраться в его тайной ночной жизни. Глухими ночами Попенков внимательно следил за предметами, следил молча, не вмешиваясь, пока полностью не вошел в курс противоречий.

Дело в том, что ориентальный орнамент находился в прямой и непримиримой полемике с древнегреческой амфорой, повисшей над ним. По ночам он звякал плитками, менял фигуры своей мозаики с целью создать неприличное слово и тем на веки оскорбить нахальную амфору, да и фрески к тому же, все эти куски разнузданной плоти, словом, весь античный мир. Увы, все усилия орнамента были тщетны, то ли времени ему не хватало, то ли еще чего, так же, как еженочные попытки потолка организовать разрозненные части тела во что-то целое.

А в витражах происходило какое-то брожение, сдержанное бульканье страстей. Некая плоская готическая фигура, то ли Роланд, то ли Ричард Львиное Сердце, пресытившись прекрасными дамами, посыпала поцелуи гейше на той стороне, а гейша в свою очередь, повернув к рыцарю прельстительный треугольник оголенной спины, улыбалась из-за плеча, совсем презрев своих самураев и водоносов.

— Одзюо-сан, Тайхен кирейдес Идес Нэ, — шептал рыцарь по-японски.

— Аригато, — нежно, как колокольчик отвечала гейша.

— Домо аригато.

Непонятная фигура с лестницы (это был бы Диоген, если бы не некоторые черты Аладина) все порывалась выйти погулять, но при первом же ее движении внутренняя змея вытягивалась и шипела, а наружная яростно колотила своей головкой в дверь.

И, разумеется, всех чертовски интересовала злополучная амфора, никто не знал, что в ней. Рыцари и самураи предполагали, что там винище, ну а какой же мужчина не мечтает о вине? Прекрасные дамы и гейши убеждены были, что в амфоре

благовония и мечтали умаститься ими. К утру болтовня об этой амфоре достигала предела.

Единственный Попенков точно знал, что в амфоре ничего нет, кроме полувековой пыли, тринадцати засушенных мух, двух помирающих с голода пауков, да невесть как туда попавшего окурка папиросы "Герцеговина Флор".

Вообще, вся эта ночная жизнь была ему не по душе. Он не без оснований подозревал, что если так пойдет дальше, все сдвинется, и самураи рванутся к прекрасным дамам, а рыцари загуляют по гейшам, канонерки высадят десант "томми"; парень с фонарем пойдет погулять; орнамент наконец изобразит свое заветное слово; амфору, естественно, расколотят; змеи, чего доброго, заберутся к нему в раскладушку; и вообще развалится тот мир, в котором он собирался царствовать по праву живого существа. Поэтому однажды, в самый разгар вестибюльного шухера, а именно в 5 часов утра, он вскочил с раскладушки, расшвырял взбесившийся уже к этому времени орнамент и прыгнул в Петровские сапоги.

Все, естественно, испугались, заахали, зашептались по углам, кто да что, что, мол, за птица, но Попенков цыкнул тут на них, подпрыгнул (немного странно, что подпрыгнул он вместе с сапогами), сорвал древнегреческую амфору, брякнул ее об пол, вдребезги, и, вернувшись в нишу, заявил:

— Вот вам ваша презренная грязная мечта, ничего в ней нет, кроме дохлых мух и полуодохлых пауков, а окурок я докурю, "Герцеговина Флор" на полу не валяется. Ясно теперь, кто здесь хозяин?

С этими словами он выпрыгнул из ботфортов, подобрал окурок и добрый час еще дымил им, лежа в раскладушке.

Все замолчали и застыли уже на веки вечные до его конкретных указаний, и лишь орнамент, подхалимски змеяясь, пытался подползти и лизнуть его в ногу в знак благодарности за справку над амфорой. Попенков же отталкивал его пяткой, не допускал к себе.

Утром первая спустилась вниз Мария Самопалова, направилась она в артель сдавать продукцию.

— Вот тебе на, — сказала она, увидев расколотую амфору. Подумав, ахнула.

— Износ шнура, Мария Тимофеевна, ничего не поделаешь, время съедает даже прочный металл, — философски заметил Попенков.

— А ведь так-то она могла и мне на голову угодить, — прикинула Мария.

— По теории вероятности вполне, — согласился Попенков.

— Да ведь и Льва Устиновича могла прихлопнуть, — зажмурилась Мария.

— Вполне, вполне, — закивал Попенков. — Представляете, был Лев Устинович, и нету его.

— Да ведь и Николаю Николаевичу могла бы на темечко хлопнуться...

— Не только ему, но даже и замминистру З., — с удовольствием подхватил Попенков.

— Да, если бы даже какой-нибудь высший начальник к нам в дом зашел, все равно она могла и на него свалиться, — продолжала рассуждать Мария.

— Точно, точно. Вот было бы горе, — закручиваясь Попенков.

— Кого хочешь, могла бы жизни лишить, — подвела итог Мария.

— Очень верно вы рассуждаете, — согласился Попенков.

— А ты-то сам не пострадал, Вениамин? — поинтересовалась Мария.

— Обошлось, Мария Тимофеевна. Я мирно спал, Мария Тимофеевна, и вдруг услышал удар, почти взрыв! Вспоминания о войне, задрожал от ужаса. Неужели опять? Неужели империалисты опять... Вы понимаете?

— С них станется, — проворчала Мария. — Хоть бы Черчиллю какая люстра на голову хлопнулась, или бы Трумену.

— Присоединяюсь к вашим пожеланиям, — сказал Попенков, отворяя Марии дверь. — Кажется, вы в артель следуете, Мария Тимофеевна?

— Продукцию несу, — солидно ответила Мария. — Какую-

никакую, а пользу государству даю, не то, что всякие брадобреи. В крайнем случае человек может и с бородой прожить, а без текстиля ему не обойтись. Давеча мимо детского садика № 105 иду, а холстина моя шитая у их на окне, сердцу любо.

— Позвольте хоть краешком глаза взглянуть на вашу продукцию, — попросил Попенков.

Они вышли на улицу, и Мария, хоть и с большим подозрением, но все же развернула сверток, показала ему часть холстины. Попенков, скрестив руки на груди, уставился на холстину.

— Чего молчишь? — удивилась Мария.

Попенков только отмахнулся.

— Конечно, мы кустари, инвалиды, — заканючила Мария, — нам, конечно, далеко до этих, до самых...

— Это искусство! — вдруг с жаром сказал Попенков, — Это настоящеe искусство, Мария Тимофеевна. Вы талантливый, талантливый, (талантливый! — гаркнул он), человек. Непосредственность, экспрессия, фи-ли-гран-ность. Вам следует пойти дальше. Вы могли бы производить, — он перешел на шепот, — старинные французские gobelены.

— Какие еще gobелены? Белены что ли объелся, Вениамин? Втравишь ты меня в историю, — забеспокоилась Мария.

— Не волнуйтесь, я все объясню. Позвольте я вас провожу, — он подхватил сверток, а другой рукой Марию. — Я берусь вам помочь, я достану репродукции, и мы с вами будем делать gobелены. Мне не нужно никакого вознаграждения. Просто хочется, чтобы у людей были красивые старинные gobелены.

Он повел Марию по извилистому Фонарному переулку, убеждая ее взяться за старинные gobелены, попутно восторгаясь прелестью цветущих лип, полетом ласточек (зоркий кинжалный взгляд в высоту), ярким июньским днем. Временами он подпрыгивал, темпераментно потирая руки. Мария только кряхтела от его напора.

Читатель вправе спросить — кто же такой этот Вениамин Федосеевич Попенков, откуда он взялся, каков его культурный

уровень, кто он по профессии и т.д. и т.п. Не получая этих сведений, читатель вправе предположить, что автор водит его за нос.

Я мог бы прибегнуть к какой-либо наивной мистификации и действительно повести читателя за нос, но литературная этика прежде всего, поэтому вынужден заявить, что совершенно ничего не знаю о Попенкове. Темна вода во облацах. Мне думается, что по ходу повествования постепенно сложится какой-нибудь хотя бы приблизительный портрет этого существа, но история его происхождения и некоторые другие данные вряд ли когда-нибудь выплынут на поверхность.

Первый гобелен, разумеется, был продан любительнице антиквариата Зиночке З., молодой супруге нашего бравого замминистра. Гобелен был прекрасен, хотя, конечно, несколько пострадал от действия времени, как-никак прошло почти два века со времени его выработки неизвестными мастерами Лиона. Изображена была на нем пастораль, немного напоминающая сюжеты Буше.

Зиночка прямо ахнула, когда Попенков принес ей этот гобелен. Вечером ахнул и сам З., когда узнал о цене.

— Немыслимо! — сказал он, прикинув сразу в уме, что на приобретение вещицы уйдет чуть ли не два месячных пакета.
— Зиночка, это немыслимо, это уже попахивает буржуазным декадансом.

— Милый, что ты говоришь? — удивилась Зиночка и подошла к нему, просвечиваясь сквозь пеньюар.

Замминистра сейчас же покатился в пропасть, мгновенно его накрыл с головой девятый вал, закружил тайфун.

— Впрочем, конечно, ценная вещь, — сказал он по прошествии некоторого времени.

После продажи гобелена наладились у Попенкова и с Зиной хорошие товарищеские отношения. Замминистр дома бывал мало, горел на своем участке работы, и Зиночка, конечно, скучала, нуждалась в живом человеческом общении. Иной раз в состоянии мизантропии она отсылала Юрия Филипповича погулять с собачкой и звала к себе Попенкова поговорить о

жизни, о печальном характере человеческого бытия.

— Помилуйте, Вениамин Федосеевич, — говорила она, возлежа в халатике на софе, а Попенков сидел на краешке, — вот я молодая, красивая... ведь не уродина же, правда?

— Вы еще спрашиваете! Вы еще спрашиваете! — бурно возмущался Попенков.

— Да я не кокетницаю, — делала ручкой Зина, — просто неуверенность в себе, сомнения, тревоги... Вы понимаете, я молода и не уродина, все у меня есть — красивая квартира, деньги, персональная машина, продукты питания, почему же мне бывает так плохо, почему меня не удовлетворяет жизнь? Может быть, я лишний человек, как Печорин?

— Я понимаю вас, Зина, все этоозвучно мне, — печально говорил Попенков, глядя в пол, — мы как будто с вами одна душа. Нас куда-то тянет ввысь. Мы люди большого полета, Зина, — на мгновение он поднимал глаза и обжигал Зиночку месопотамским огнем.

— В 43-м году я отдалась одному летчику, — говорила Зиночка. — Он был первым, он взял меня дико, бесчеловечно. Это было на берегу реки в ливень, а он был, как тигр, как...

— Как орел, — вставил Попенков, — ведь он был летчик.

— Да, тогда он был летчик, сейчас он замминистра, — грустно кивала Зиночка. — Товарищ моего мужа, бывает у нас, пьет водку с З., сейчас он не такой.

Попенков вставал, нервно ходил по ковру, потирал руки, резко оборачивался к Зиночке... Ух, как она нравилась ему, она лежа-а-ала и не боялась.

Тут раздавалось покашливание Юрия Филипповича, лай собачки. Зиночка вставала с софы, говорила Попенкову всякие мелочи насчет доставки антиквариата, провожала к дверям. Встречи их из-за Юрия Филипповича с собачкой стали приобретать какую-то ненужную двусмысленность.

Ночами Попенков приказывал фрескам купола двигаться, совмещаться разрозненными частями тела. Его не оставляла надежда, что как-нибудь сложится Зиночкина обольстительная фигура, но все получались какие-то чудовища, хоть и

симпатичные на вид, но "типовое не то".

Позже всех возвращались два человека — вторая прелестница дома № 14 Марина Цветкова и сам замминистра. В те времена, как известно, окна министерств и ведомств сияли всю ночь посреди спящей Москвы.

З. входил в дом энергично, крепко стучал дверьми, военным шагом проходил вестибюль, на ходу шутил с Попенковым.

— Как жизнь молодая, спаситель?

Попенков вскакивал, открывал дверь лифта, на вопрос этот, задевающий самолюбие, не отвечал, но спрашивал смиренно:

— Воспользуетесь лифтом?

— Не требуется, — говорил З. и на сильных ногах взлетал к себе в бельэтаж.

Цветкова постукивала туфлями-танкетками, модель текущего сезона. Ходила она в белом шерстяном пальто, как Клавдия Шульженко, а прическу носила "Марика Рокк".

В годы войны такая девушка, как Цветкова, была мечтой всех воюющих стран, т.е. всего цивилизованного человечества. В ней было то, что волновало и вдохновляло боевых ожесточенных мужчин, то, что связывало их с нормальной человеческой жизнью, и если символически это называлось "Людмила Целиковская", "Валентина Серова", "Жди меня, и я вернусь", а с другой стороны фронта "Марика Рокк", "Сара Ляндра", "Лили Марлен", а в песках Сахары и в Атлантике "Дина Дурбин", "Соня Хени", "Путь далекий до Типерери", то в жизни это была Марина Цветкова.

Годы войны для нее были временем нежной власти, романтики, печали и надежды. Ее мальчики, ее ухажеры, вочных бомбардировщиках летели на Кенигсберг, топали по дорогам Польши и Чехословакии, всплывали на субмаринах в студеных норвежских шхерах. От одного такого героя, собственно говоря, единственно, кого она любила по-настоящему, у Цветковой осталась дочка. Герой не вернулся, погиб уже после капитуляции Германии, под Прагой.

Цветкова оставалась прекрасной и в 1948-ом году, только чуточку, почти незаметно сместился ее стиль. Она продолжала принимать ухаживания офицеров, потому что погоны и орденские колодки напоминали ей о недалеком прошлом и потому что "молодость проходит", но на штатских пижонов в длинных пиджаках с квадратными плечами — ноль внимания, фунт презрения.

Офицеры провожали Цветкову домой, она входила с букетами в лифт, постукивала танкеткой во время подъема, напевала "ночь коротка, спят облака" и почти не замечала раскладушки с Попенковым, никак не реагировала на его комплименты, касающиеся фигуры и общего очарования.

А Попенков потом присовокуплял к мечтам и Цветкову, колдовал со своим куполом и орнаментом и в общем, если честно говорить, испытывал крупную злобу к роду людскому.

В ту ночь Цветкова вошла в вестибюль хмельная и веселая, вся в георгинах, маках и прочих бутонах.

— Разрешите понюхать, — попросил Попенков и зарылся в букет, почти касаясь kostяным носом Марининой груди.

— Вы бы в баню сходили, Попенков, — сказала Цветкова, — а то очень от вас неприятно пахнет. Хотите, дам вам тридцатку на баню? Вот вам тридцатка, и вот вам еще пион.

— Как понять этот ваш дар? — спросил Попенков, запихивая за пазуху цветок и купюру. — Понять ли его как знак внимания или как знак жалости? Если как знак жалости, то я верну: жалость унижает человека, а человек — это звучит гордо.

— А вы разве человек, Попенков? — наивно удивилась Цветкова и нажала кнопку своего этажа.

Попенков вздрогнул от каких-то самому ему не совсем понятных гордых и мощных чувств.

— Вы легкомысленная особа, Марина, я все про вас знаю, — сказал он, взяв себя в руки.

— Ничего вы про меня не знаете, — вдруг помрачнела Цветкова, — и никакая я не легкомысленная. Наоборот, я очень тяжеломысленная, а вы про меня ничего не знаете.

Они ехали вверх.

— А вот и знаю, — сказала Попенков.

— Ха-ха, — сказала Цветкова, — ничего вы не знаете. Например, вы не знаете, кого я люблю, какого мужчину я давно заочно обожаю, а люблю я замминистра З., и на этом привет.

Лифт остановился, и Цветкова попыталась выйти, но Попенков нажал кнопку нижнего этажа, и они поехали вниз.

— Вы что это хулиганите? — спросила Цветкова.

— Вот так-так, — хихикнул Попенков. — А как же Зиночка З.? ‘

— Подумаешь, Зинка, телка такая-сякая! — выкрикнула Цветкова. — Когда З. у нас поселился, я ему больше нравилась, чем Зинка, да только я ему отставку дала, потому что он замминистр и чтоб не думал, что я его как замминистра люблю. Дура я непутевая, — заплакала она и нажала кнопку своего этажа.

Они поехали вверх.

— Любопытно, любопытно, — проговорил Попенков.

— Что ж, выходит, и встречались вы с З.?

— Ну и встречались, ну и что ж, ну и в командировку вместе ездили, да уж год не встречаемся, и не надо мне от него ничего, — продолжала плакать Цветкова.

— Не плачьте, родная, — сказал Попенков, обнимая Цветкову и незаметно нажимая кнопку первого этажа, не плачьте несчастная, очаровательная, (очаровательная! — гаркнул он, округляя глаза) женщина. Любовь без взаимности, как мне понятно, ведь это и моя жизнь, мы с вами люди одной судьбы...

Они ехали вниз.

— Пустите меня, дурно пахнущий мужчина! — спохватилась Цветкова и нажала кнопку своего этажа. — Вы что, обалдели?

Она попыталась выбраться из объятий Попенкова, но руки его были, как сталь. Она почувствовала невероятную, нечеловеческую силу в его руках и даже испугалась.

— Пустите!

Вниз!

— А в случае разоблачения... вы не подумали?.. эксцесс?.. гнев Зинаиды... а если обнародовать?.. вот возьму и по инстанциям... а?

Вверх!

— Пустите, негодяй! Балда... ворона несчастная, — трах по щеке, — идиот... пусти, я за себя не отвечаю... я... я в газете работаю... секретарем... возьму и фельетон про вас... какой вы негодяй... пустите!.. то-то...

Вниз!

— В несчастье я... крэг, крэг, карузерс чувыть... геморроидальные узлы... как же посмотреть?.. фить, фить, рыкл, екл, а?

Вверх!

— Ничтожество... проклятое, животное! Слезы не из-за вас! Мой любимый был летчик, дважды герой! Вон с дороги!

Вниз!

— В газете... про меня?.. чрык, чрык... грым фираус в скобках... почему не пощадить... я екл бижур жирнау члок чузырь... кури-кури... слабый организм...

Вверх!

— Вы что рехнулись? С ума сошел! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Меня не купите!

Вниз!

— Лык брутер, кикан, кикан, кикан... пощады и любви... я жажду, как орел... приказ... литон фри ау, ау... мы улетим... фить, фить, рыкл, екл, а?.. Над пепелищем, над домами... Цветы, Марина... екл...

Вниз, вниз, она уж не владела руками, и смех ее завял, а слезы высохли, а лифт был полон электричества, как лейденская банка, и он все проваливался, проваливался, потом взмывал в сплошную черноту, в гиблое небо, и ей показалось, что она сама... сейчас... как ее любимый летчик или танкист... тот, который не вернулся... сейчас — конец, но в это время Попенков грохнулся на раскладушку и забился в судорогах.

Женщины дома № 14 учредили спасательный комитет и постановили дежурить у постели больного.

Утром из соседнего детского сада принесли манную кашу, сливки и творог.

Товарищ З. под давлением супруги прислал врача из Кремлевки, и тот провел консилиум с доктором Зельдовичем. Юрий Филиппович бегал в аптеку. Пугая фармацевтов формой и надписью *cito!*, он получал лекарства без очереди.

Лев Устинович безвозмездно брил больного, а его дети не шумели в подъезде, а напротив, старались развлечь Попенкова, читали ему стихи и пели восточные песни.

Мария и Агриппина завесили лифт чистыми и художественными холстами.

— Как же будем решать с лифтом? — спросил Николай Николаевич на общем собрании жильцов.

— Чего ж с лифтом? Куда ж теперь лифт, если в нем больной человек? Шут с ним, с лифтом! — ответили жильцы, как один человек.

— Значит, постановили — лифт остановить! — резюмировал Николай Николаевич, и всегда строгие его глаза потеплели.

Так в доме № 14 по Фонарному переулку был остановлен лифт. На этом, пожалуй, можно закончить вторую главу.

Воспоминания Михаила Фучиняна, водолаза

Все меня знают, я — Фучинян, а кто не знает, те узнают, а кто не хочет узнать, пусть выйдут, а если не выйдут, тогда они меня узнают, а те, кто здесь — это мои друзья, это молодые мужчины и ребята первый сорт. Рюмки на уровень бровей! Пошли, ребята!

Ну, хорошо, если кому-нибудь интересно, могу рассказать вам про этого типа. Только, чур, не перебивать, а те, кто будет перебивать, пусть сразу выйдут, а то нарвутся на неприятности.

Короче, вот моя рука, проверьте сами, тот, кто хочет. Ну, как моя рука, в порядке? Бицепс, трицепс — все на месте? Левая такая же — вот! Короче, вот перед вами весь мой

плечевой пояс. В общем, как видите, мужчина не из последних.

Как-то вечером сидели мы с ребятами во дворе и нормально забивали козла. Игра эта не нравится мне своей тупостью, но нравится ударом. Толик, он водителем был в Главрыбе, воблочки как раз в тот день подкальмил кило шесть, ну, сложились мы, послали пацанов за пивом. Притаранили пацаны два ящика пива, в общем, получается приятный тихий вечер. Сидим нормально, козла уже по боку, рубаем воблочку, запиваем пивом, делимся опытом Второй мировой войны.

Тут появляется эта ворона, Вениамин Попенков. Подсел, воблочку клюет, пивка кто-то ему налил, сидит помалкивает. Чистенький сидит, не то, что в 48-ом году, благоухает одеколоном "В полет", галстук, штиблеты, будь здоров.

Я его с самого начала не взлюбил, этого крысеныша, был бы котом, слопал бы и дело с концом, но отношения своего активно не проявлял, потому что имею принцип — живи и дай жить другим, вон ребята скажут.

А тут, что-то злость меня стала разбирать, как на него посмотрю. Ах ты, думаю, несчастненький, убогий, бездомный, все тебя питают, все жалеют, все чего-то подбрасывают, а ты между тем устраиваешься, грач проклятый. Тут только я подумал, что устроился этот убогий — дай бог каждому. Допустим, квартиры у него нет, но зато весь вестибюль в полном распоряжении, понаставил там ширмочек, у жильцов только узкий проход от лестницы до двери, про лифт я уж не говорю. Следующий вопрос: бабу взял себе наш горемыка самую товариствую во всем переулке, наслаждается с ней за ширмами, да так, что всему дому на удивление. Теперь следующее: вот я водолаз, высокооплачиваемый работник, так я за свои две с половиной на дне Москва-реки, как краб, ворочаюсь, а он, подлюга, на поверхности в таком костюме ходит, что мне и не снился, и запахи у них в вестибюле такие гастрономические, какие в моем доме никогда не бывают. А так посмотришь, ходит обездоленная личность и на всех такими глазами смотрит, будто каждый ему что-то должен. Гипноз какой-то, иллюзионист Кио, Клео Доротти.

Ну, в общем, злость меня взяла, и я делаю резкий поворот кругом на конфликт. В это время Толик Проглотилин как раз рассказывает про операцию в Цемесской бухте, а Попенков все ему поддакивает, все кивает своим клювом. Тут я перебиваю Толика и говорю:

— А что же вы, Попенков, военным опытом не поделитесь? Небось, в Ташкенте оборону держали? Небось, по урюку удары наносили?

Улыбается, подлюга, улыбается тайным, скрытым, невероятным образом.

— Ах, Миша, — говорит он мне, — вы о моей войне ничего не знаете. Ваша война уж кончилась, а моя нет. Моя война пострашнее вашей будет.

Тут все замолчали, поняли, что начинается конфликт, все знают, что не люблю я, когда задеваю мое боевое прошлое.

— С кем же ты воюешь, воробей, щипач подножный?
— говорю я на повышенных тонах. — С бабами? На большее-то у тебя силенок не хватит, чижик!

А он все усмехается, усмехается, и вдруг как уставится на меня своими зенками, так на меня прямо жаром дохнуло, как из пароходной топки.

— Во-первых, Миша, я не воробей и не чижик, а, во-вторых, не каждый знает свою настоящую силу. Я, может быть, посильнее вас буду, а, Миша?

Так. Вот таким образом. Вот так, значит.

Тогда я поднимаю свою правую руку, вот эту самую руку, которую вы видите перед собой, и ставлю ее локтем на стол.

— Ну-ка, силач, давай потягаемся.

Смех в самом деле, но он тоже ставит на стол свою тощую лапку, свою бледную, умеренно волосатую руку. Ребята надрываются от смеха, потому что я чемпион по этому делу не только Фонарного переулка, но и всего Арбата, а, впрочем, не знаю, кто во всей Москве мою руку к столу прижмет, может быть только Григорий Новак.

Значит, мы сцепились, и я тихонечко, почти без усилий,

веду его лапку вниз, но в десяти сантиметрах от стола что-то застопорилось. Удвоил усилия — все равно. Устроил усилия — один черт! Как будто упирается моя рука в сплошной металл, чуть ли не в танковую броню. Посмотрел ему в глаза — там желтый огонь. На губах — любезная улыбка. Учтывая усилия, и тут моя рука, словно это не моя рука, идет вверх, а потом вниз под действием силы просто не человеческой, а машинной, и вот она припечатана к столу. Все замолчали.

— На нерве он тебя взял, Миша, на нерве, — шепчет мне Васька Аксиомов. — Попробуй еще раз. Сгруппируйся.

— Совершенно верно, — говорит Попенков, — я победил Михаила не силой своих мышц, а превосходством нервной системы. Если угодно, можно попробовать еще раз.

Попробовали еще раз — результат тот же.

Попробовали в третий — один черт.

Тут, честно говорю, не выдержал мой темперамент, сами знаете — папа у меня армянского происхождения, и я бросился на Попенкова. Валял его, мял, крутил, гнул, и вдруг сам оказался припечатанным на обе лопатки, полное туша, а надо мной желтые огни, тыфу ты, проклятые его очи.

— Нервы, — сказал Толик Проглотилин, — нервы, как сталь. У нас у всех нервы слабые, а у них, — он с уважением указал на Попенкова, — у них нервы стальные.

Джентльмен признает поражение, и я признал, хлопнул Попенкова по плечу (он чуть не рухнул), послал за водкой.

Попенков сидел тихий, скромный, надо признать совсем не бахвалился. Выпили. Ребята, чтобы это дело замять, начали песни петь военных лет и довоенные, разные маршевые песни.

— Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится,
Тяжелый танк не проползет,
Там пролетит стальная птица.

— Вот наша стальная птица, — сказал Васька Аксиомов, обнимая Попенкова, — наша самая настоящая стальная птица.

— Стальная, цельнометаллическая, — ласково продолжил Толик Проглотилин.

Тут же сложился новый вариант.

Где Аксиомов не пройдет,
Где Проглотилин не промчится,
Где Фучинян не проползет,
Там пролетит стальная птица.

Ну, естественно, все заржали. Нашим ребятам палец покажи — обожрутся.

И тут, братцы, произошло нечто странное, как пишут в романах. Попенков вскочил, замахал руками, в самом деле, как птица, глаза его загорелись, он прямо страшный стал какой-то, и заорал на полу понятном языке:

— Кертль фур линкер, я так и знал, наконец-то! Да, я Стальная жижа, чуиза дронч! Ага, попались фричеки, клочеки крыть, крыть, крыть! В полете — свист и коготь перкатор!

Все мы обомлели, глядя на это чудо, а он вдруг затих, засмущался, мягко улыбнулся, присел.

— Ловко я вас разыграл? Смешно?

У всех отлегло от сердца, захотели — во, шутник! во, Стальная птица! во, нервная система!

А он меня отозвал в сторонку.

— Я собственно, Миша, вышел на вашу душу, — сказал он мне тихо.

Меня стало трясти, и я решил — если что, буду уж до конца защищаться, стоять насмерть.

— Вы не поможете мне завтра мебель занести? — спросил он. — Один я не справлюсь, а жена, знаете, слабая женщина. Знаете, решили обставитьсь, а то живем, как на бивуаке. Хочется родственников встретить с мебелью.

— Ладно, Стальная, — сказал я, честно говоря с облегчением, потому что душа моя ему не понадобилась, — ладно, Стальная птица, чем можем, тем поможем. Завтра приду с Васькой и Толиком.

Вот такая была история, ребята. Поехали дальше. Рюмки на уровень бровей! Салют. Ну да, мебель мы ему занесли, а вечером он заколотил парадный подъезд. С того времени жильцы стали ходить через черный ход.

Воспоминание врача

Я лечил его много раз и каждый раз будто с завязанными глазами, каждый раз диагноз был для меня абсолютно неясен. В конце концов мне стало казаться, что выздоравливает он вовсе не от моего лечения, не от антибиотиков, не от физиотерапии, а просто по собственному желанию, так же, как и заболевает.

Каждый вызов к нему был для меня мукой, напряжением всех душевных сил, т.е. всех сил высшей нервной системы. Во-первых, мне иногда начинало казаться, что в нем, в его организме, заключено нечто могучее и таинственное, нечто такое, что начисто опровергает мое мировоззрение советского врача. Во-вторых, каждый раз я ловил себя на том, что эта тайная сила ввергает меня в состояние полной абулии, т.е. отсутствия всех волевых реакций, в дремучее состояние домашнего животного, ждущего только приказаний, только удара бичом.

Однажды он попросил меня положить на две недели в нашу клинику его родственника, здоровенного бугая, похожего на молотобойца. Я осмотрел этого родственника и разумеется отказался госпитализировать абсолютно здорового человека. С какой стати, думалось мне, ведь в клинике даже коридоры забиты тяжелобольными людьми, действительно нуждающимися в лечении.

— Поймите, доктор, — стал упрашивать меня Попенков, — этот человек приехал издалека, месяц провалаился в котловане Дворца Советов, он погибнет, если вы его не спасете.

— Отнюдь нет, товарищ Попенков, — возразил я. — Ваш родственник в прекрасном жизнедеятельном состоянии. Если

же он устал с дороги, пусть отдохнет у вас. Я замечаю, что наш вестибюль почти уже превратился в довольно комфортабельную квартиру, — тут я позволил себе усмехнуться.

Это было в тяжелые для нас, медиков, дни, зимой 1953 года. Совсем недавно была арестована группа профессоров, которым были предъявлены страшные обвинения. Всю свою жизнь я преклонялся перед этими учеными, по сути дела это были мои учителя, и я не понимал их логики. Как они смогли сойти со столбовой дороги гуманизма на путь преступлений против человечества? Конечно, я не высказывал вслух своих мыслей.

Дело усугублялось тем, что преступления этих ученых рикошетом били по всем нам, честным советским врачам. У некоторых людей появилось недоверие к белым халатам. В поликлинике, где я раз в неделю проводил консультации, мне приходилось сталкиваться с фактами такого недоверия, а также с оскорбительными замечаниями, представьте, по поводу моего носа. Никогда не думал, что нос имеет какое-то отношение к медицине.

Однажды ночью, лежа в постели, я услышал шум поднимающегося лифта. Лифт в нашем доме несколько лет уже не действовал, поэтому необычный, неожиданный этот шум меня насторожил.

— “Лес рубят, щепки летят”, — подумал я, быстро встал и надел теплые вещи.

Раздался тихий стук в дверь, я спокойно открыл — на площадке стоял Попенков.

— Я хотел с вами посоветоваться, доктор, — сказал он, — в чем дело, не пойму. Третьего дня вы мне дали лекарство от ушей, а отреагировала печень. Простите, но я давно замечаю некоторые странные, фути мелаза рикатуэр, вы даете от сердца, а в мочеточнике страшная резь, крыть, крыть, лиська бул чварь, от ваших витаминов — резкий авитаминоз. В чем дело? Вы не можете мне объяснить?

Честное слово, он так мне все и сказал.

— Да, понимаю, — ответил я, — извините, больше это

не повторится.

Утром я отвез его родственника в клинику.

Консилиум врачей, имевший быть летом 1956 года

— Да, мы должны смело смотреть в лицо фактам. Есть еще много неизученного в природе...

— Вы меня простите, товарищи, может быть я покажусь вам сумасшедшим, но...

— Что же вы замолчали? Продолжайте!

— Нет, я подожду.

— Давайте еще раз сопоставим наши данные с антропометрией, данными анализов и рентгенограммами какого-нибудь *homo sapiens*.

— Нонсенс, коллега! Может быть, вы полагаете, что нормальная анатомия и нормальная физиология как-то изменились за последнее время?

— Товарищи, вы будете меня считать сумасшедшим, но...

— Опять вы замолчали? Говорите.

— Подожду.

— Однако, наши данные настолько поразительны, что по неволе напрашиваются...

— Доктора, давайте оставаться все-таки в рамках науки. Чудес на свете не бывает.

— Да, но так мы не выйдем из тупика.

— Товарищи, должно быть я сумасшедший, но...

— Ну, говорите!

— Говорите же!

— Высказывайтесь!

— ...но нельзя ли предположить, что перед нами самолет?

— Представьте себе, что и мне казалось это, только язык не поворачивался.

— Коллеги-коллеги, давайте останемся в рамках...

— ...и все-таки я убежден, что перед нами не *homo sapiens*, а обыкновенный стальной самолет.

— Давайте не будем опрометчивы, вызовем инженера-конструктора. Я позвоню своему знакомому конструктору.

Приехал Туполев, ознакомился с данными.

— Нет, это не окончательный самолет, — сказал он, — хотя и имеет много общих черт с истребителем-перехватчиком.

— Товарищи, возможно ход моей мысли может показаться странным, но...—???

— ...но нельзя ли предположить, что перед нами птица?

— Я сам хотел сказать, но язык не поворачивался.

— Не будем торопиться с заключениями, доктора, давайте вызовем орнитолога.

Приехал академик Бухвостов, ознакомился с данными.

— Хоть и похоже, — сказал он, — но не птица. Не может быть птица с такими явными данными истребителя-перехватчика.

— А нельзя ли предположить, товарищи, конечно, это может нас далеко завести, нельзя ли предположить, учитывая все высказывания и суммируя мнения авторитетных специалистов, а также характер поведения изучаемого существа, довольно частое употребление им неизвестных еще в мире звукосочетаний, нельзя ли предположить с должной осторожностью, разумеется, хотя бы ориентировочно, нельзя ли предположить, что мы имеем дело с совершенно новым видом, с уникальным сочетанием органической и неорганической природы, нельзя ли предположить, что мы в данном случае являемся первооткрывателями, нельзя ли предположить, что мы имеем дело со стальной птицей?

— Прошу всех встать. Прошу всех учесть — стенограмма консилиума совершенно секретна.

Партия корнет "а" пистона

Тема: Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор...

Импровизация: Двери заколочены ржавыми гвоздями, что ж теперь нам делать, жителям с ним? Трудно пробиваться грязным черным ходом, все же, если надо, будем там ходить. Лишь бы быть в согласы, в мире, в благолепье, свод пожарных правил лишь бы соблюдать.

Конец темы: ...Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор.

Воспоминания парикмахера

Наш сосед снизу, из вестибюля, припер меня к стенке. Позвольте, говорю, что же получается? А он мне — крыть, крыть, фил бурорэ ляп, т.е. на иностранном языке. А ежели я тебя опасной бритвой? Хвать, бритва сломалась. Пусти, а он не пускает. А ежели я тебя ножницами? Хвать, ножницы сломались. А ежели я тебе феном прическу сделаю? Это, говорит, пожалуйста. А ежели я тебя одеколоном "В полет" освежу? Это, говорит, пожалуйста. А ежели я тебе массаж лица с питательным кремом? Это, говорит, пожалуйста. Отпустил.

Глава третья

Унылая необходимость тянуть лямку сюжета обязывает меня попытаться восстановить хронологическую последовательность событий.

В 1950 году, а, может быть, на год раньше или на год позже, между супругами З. разыгралась необычной силы скора. Она произошла, разумеется, из-за старофранцузских gobelenов и прочих предметов эпохи мадам Помпадур. Замминистра

катастрофически быстро нищал, гардероб его изнашивался, питание ухудшалось с каждым днем, вся зарплата и пакеты и даже некоторые составные элементы пайка уходили на антиквариат. Дошло до того, что З. стал стрелять у своего стражи Юрия Филипповича папироски "Север". Вот до чего дошло — с "Герцеговины Флор" докатиться до "Севера", да еще и чужого.

— Знаешь, Зинаида, — сказал З., — пора с этим покончить. Наша квартира превратилась в комиссионный магазин. Это буржуазный декаданс и космополитизм.

— Ты не чуткий, ты грубый, ты ржавый, — зарыдала Зинаида, — никакого понимания, никакого ответного трепета. Тебе бы только перемигиваться с вульгарной Цветковой. Я ухожу.

— При чем тут Цветкова? Куда ты уходишь? К кому? Боже, что это такое? — возопил З. Мысль о том, что Зиночка может лишить его своих ласк, показалась ему фантастически ужасной, почти адской. Попутно уже возникли мысли о неприятностях на службе, об объяснениях по партийной линии, о всем комплексе неприятностей, связанных с уходом жены.

— Я ухожу к человеку, с которым мы говорим на одном языке. К человеку, эстетические взгляды которого не расходятся с моими, — заявила Зиночка.

И она спустилась вниз, в вестибюль, к Попенкову, который в ожидании давно уже бестолково прыгал по клеткам орнамента.

— Примешь? — спросила она драматически.

— Любовь моя, свет очей моих, кувыраль лекур лекувырль ки ки! — в восторге заплясал Попенков.

— "Надо же, замминистра сковырнул", — подумал он, вне себя от радости и животворного оптимизма.

Моментально произошел раздел имущества, после которого З. остался в своих комнатах один с раскладушкой, с тумбочкой, с растерзанным платяным шкафом, с кое-какими книгами по специальности. Он стоял в полной растерянности, почти в прострации, когда вошел Попенков с целью нанести

завершающий удар, нокаутировать неблагодарного замминистра.

— Как мужчина и как рыцарь, — обратился он к З. — я обязан вступиться за несчастную, вами измученную женщину, которой вы к тому же предъявили необоснованные обвинения в космополитизме. Зинаида не космополит, она — настоящий советский человек, а вам, товарищ З., стоило бы вспомнить о тех странноватых взглядах и сомнениях, которыми вы делились с вашей бывшей супругой, отключая телефон и закутываясь в одеяло. Учтите, я в курсе. Кстати, Зинаида просила привезти ей этот шкафчик. Женщина без шкафа не может, а вы утретесь. Adios!

Легко подняв огромный шкаф и вытряхнув из него остальные вещички З., он вышел.

Всю ночь из вестибюля слышался шум, скрип пружин, гортанные непонятные возгласы, а на площадке бельэтажа горько бедовали над поллитрой З. с Юрием Филипповичем.

— Остались мы с тобой сиротами, Филиппич, — плакал З.
— Одиночество, Филиппич... Как это пережить?

— Замкнитесь, товарищ замминистра, — советовал старшина, — уйдите в себя, с головой в работу...

Вполне понятно, что карьера З. с этой ночи резко пошла на убыль.

Попенков с молодой спутницей жизни постепенно налаживали быт. Частенько приезжали родственники и вносили свою лепту в это дело. Родственник Кока помог молотком, родственник Гога малярной кистью, родственник Дмитрий оказался на все руки мастер.

Вестибюль перегораживался, возникали комнаты, альковы, будуары, санузлы. Сапоги Петра Великого оказались в кабинете Попенкова. Японский сюжет интимно и в то же время скромно окрашивал будуар Зиночки. Рыцари, варяги и новгородцы оказались в комнате для гостей, что, должно быть, сильно вдохновляло приезжающих родственников — частенько они пели там хором воинственные песни.

Питание постоянно улучшалось. Зиночка добрела,

наливалась молочно-восковой, сахарно-сливочной спелостью. Жизнь ее представляла ныне полную гармонию, во внутреннем мире царил субтропический штиль, благолепие, роскошный покой.

Попенков появлялся в ее будуаре всегда внезапно, стремительно, с порога вонзая кинжалный взгляд в голубые лагуны ее глаз, бросался, утопал в прелестях, бурно клокотал.

— Ты моя гейша! — выкрикивал он. — Моя гетера! Моя Лорелей!

Зимой 1953 года в Москве произошло важное событие — умер И. В. Сталин. Всенощное горе захлестнуло и дом № 14 по Фонарному переулку. Глухие стенания слышались в нем несколько дней. В бельэтаже по ночам горько рыдали два бобыля — Юрий Филиппович и замминистра. Пронзительные отчаянные звуки корнета и пистона проникали во все квартиры, пользуясь трагической свободой этих дней.

В свалке на Трубной площади чуть не погиб Николай Николаевич Николаев. Миша Фучинян, Толик Проглотилин и Васька Аксиомов еле-еле вытащили его из канализационного люка. Эти мужественные люди организовали боевую группу и кое-как вывели с Трубной растерзанных обитателей Фонарного переулка. Никто так и не пробился в Колонный зал.

Никто, за исключением, конечно, Попенкова, который неведомым самому себе, может быть даже фантастическим путем, без особого труда и членовредительства оказался в "святая святых", все видел самым подробным образом и даже в качестве сувенира принес с собой кусочек траурного крепа с люстры.

Весь день после этого он был сосредоточен, углублен в себя, удлинил родственников и даже Зиночку, стоял в петровских ботфортах и думал, думал.

Что ж, решил он к концу дня, вот результат половинчатых мер, топтания на одном месте. Печальный результат, следствие ненужного маскарада. Фучи элази компрор, и, пожалуйста, изволь лежать в гробу. Нет, мы пойдем другим путем, ру хнопластэр, ру!

После этого он поднялся в своем лифте на пятый этаж и вошел в квартиру Марии Самопаловой, гремя чугунными сапогами.

Как он и ожидал, Мария и Агриппина сидели, окаменев от горя, возле бездействующего ткацкого станка. Скрестив руки на груди, в полном молчании Попенков несколько минут сопереживал им. Потом сказал слово.

— Мария Тимофеевна и вы, Агриппина! Горе наше беспредельно, но жизнь продолжается. Нельзя забывать о близких, нельзя забывать о тысячах, ждущих от нас радости, света, желающих ежедневно преклоняться перед искусством. Надо работать. Ответим трудом!

Мария и Агриппина тут встряхнулись, пустили станок. Попенков некоторое время наблюдал за тем, как рождается очередной шедевр, затем тихо вышел, чтобы не мешать творческому процессу.

Мария с дочерью все эти годы работали, почти не смыкая глаз. Они отлично понимали важность своего дела — ведь родственники Вениамина Федосеевича, эти бескорыстные культуртрегеры, распространяли старо-французские gobelены на Дальнем Востоке и в Сибири, на Украине, в республиках Закавказья и Средней Азии.

Парикмахера Самопалова Попенков взял на себя, провел с ним беседу, растолковал значение Марииного труда. Прогнал он беседу и с Зульфией, которая вскоре после этого насыпалась на своего мужа, требуя и к себе в квартиру хоть небольшой gobelenчик, заставила-таки Льва Устиновича развязать мошну.

После этой покупки в семействе Самопаловых установилось очень почтительное отношение к Марии, да и к шуму станка за эти годы все члены семьи привыкли и теперь воспринимался оними как нечто родное, близкое.

Управдомами Николаев диву давался: прекратились склоки в 31-ой квартире, прекратились скандалы и бесконечные апелляции к нему и к Сталину. Впрочем, как уже известно, второй адресат в скором времени выбыл, совсем немного вкусив спокойной жизни.

Николай Николаевич жил в постоянном страхе. Он боялся, как бы Попенков не вывел его на чистую воду, показав его жильцам не как руководителя, а как обыкновенного корнет-“а”пистонщика, легкомысленного музыкантика.

При встречах он напускал на себя начальственную хмурость, интересовался устройством быта.

— Ну, как? Устраиваешься? Терпишь неудобства? Слесаря тебе подослать?

Попенков понимающе улыбался, подмигивал ему, заговорщики оборачивался.

— Ну, как вы-то, Николай Николаевич? Все импровизируете? Молчу, молчу.

И Николай Николаевич терялся, сбивался со своего начальственного тона, мялся перед Попенковым, как нашкодивший школьник перед завучем.

— А неудобства, конечно, терплю, Николай Николаевич. Сами понимаете — квартира, как проходной двор. Нервная система у жены в угрожающем состоянии.

И Попенков принимал любимую свою позу, приседал на корточки и глядел на Николая Николаевича снизу своим жгучим взглядом.

— Да что же делать-то Вениамин Федосеевич, я уж ума не приложу, подъезд все-таки, — сказал Николаев.

— Хуло марано ри! — воскликнул Попенков, подпрыгнув и бешено потер руки.

— Что вы сказали? — задрожал, как осиновый лист, Николай Николаевич.

— Простите, — притворно смущался Попенков, — я хотел сказать, что не будет большой беды, если мы примем решение ликвидировать никому ненужный пышный аляповатый так называемый парадный ход, через который когда-то ходили присяжные поверенные и прочие слуги буржуазии, и направим поток жильцов через так называемый черный, а на самом деле вполне удобный и даже более целесообразный ход.

— Это конечно... оно, конечно, резонно, —мямлил Николаев, — да уж больно узок так называемый черный ход. Вот я

с моими габаритами проникаю через него только путем усилия, а в случае покупки кем-нибудь рояля или чьей-нибудь кончины, как пронести рояль или гроб?

— А окна на что? — воскликнул Попенков, но спохватившись, засмеялся. — Впрочем, что это я — окна, конечно, для вас неприменимы... Постойте, постойте, окна вполне можно использовать для подъема рояля или для спуска гроба. Кронштейн, блок, крепкий канат — вот и все! Вы меня понимаете?

— Смело-смело, — забормотал Николаев, — смелое решение проблемы, но...

— Об остальном не беспокойтесь, милый Николай Николаевич, мнение жильцов я беру на себя. А вы ни о чем не беспокойтесь, спокойно себе музицируйте, ха-ха-ха! Ну, понимаю-понимаю, молчу, молчу!

Таким образом был заколочен парадный ход и перекрыта капитальной стеной бело-мраморная лестница. Из дверных ручек-змей родственник Гога изготовил для Зиночки вполне аристократические канделябры. Для выхода из фешенебельной квартиры вначале использовались окна, а впоследствии, когда жильцы привыкли к новому статусу, парадный ход был открыт, но только уже для личного пользования семьи Попенковых.

Так был завершен первый этап, и хотя на него ушло довольно много лет, Попенков был доволен, ходил спокойный, гордый, но в глазах его по-прежнему стоял тяжелый желтый жар, вековая мечта и тоска Тамерлана.

Иногда по ночам он прерывал наслаждения и задавал своей подруге вопросы.

— Довольна ли ты своей судьбой, Зинаида?

Сказочно пышная Зинаида потягивалась в подобострастной истоме.

— Я почти довольна своей судьбой, довольна на 99 и 9 десятых процента, а если бы ты...

— Я понимаю твою мятущуюся душу, понимаю все величие этой одной десятой, — говорил он и начинал бурно

клокотать, а через некоторое время спрашивал, — но понимаешь ли ты меня?

Зиночка, теперь уже довольная на 99 и 99 сотых процента, отвечала:

— Мне кажется, что я понимаю тебя и всю красоту твоей мечты. Ты, как могучий дух, преобразил этот заплеванный вестибюль в величественный чертог, в эстетический храм нашей роковой страсти, ты не похож на всех этих серых обыденных мужчин, на замминистров и милиционеров, врачей, парикмахеров и водолазов, которых я знала до тебя, ты смерч огня и стали, могучий и гордый дух, но иногда, Вениамин, я теряюсь, твои загадочные слова все еще непонятны мне...

— Какие же это слова? — возбужденно хохотал Попенков.

— Ну, например, вот эти слова, которые ты говоришь в порыве страсти — бу жиза хоку ромуар, тебет фелари...

— ...кукубу? — вскрикивал Попенков. Диалог на некоторое время прерывался.

— Да, вот эти слова, что они значат? — слабо спрашивала Зиночка потом.

— Ха-ха, — благодушествовал Попенков, — ведь ты же знаешь, что я не какой-нибудь заурядный человек, да и среди птиц я отличаюсь определенными качествами. Я — Стальная Птица. Это наш язык, язык стальных птиц.

— Ой, как интересно! Как это меня волнует! Стальная! Птица! — задыхалась Зиночка.

— Кукубу! — вскрикивал Попенков.

Диалог вновь прерывался на некоторое время.

— А есть ли еще подобные? Существуют ли еще в мире такие, как ты? — возобновляла разговор Зиночка.

— Не так много пока, но и не мало. Ранее предпринятые попытки к сожалению рухнули, думаю, что это результат полувинчатах мер, топтания на месте. Чиви, чиви зол фаар, ты понимаешь?

— Почти.

— Пока мы вынуждены ходить в пиджаках и ботинках и

шепелявить по-английски, по-немецки, по-испански. Вот и мне приходится пользоваться великим и прекрасным, правдивым и свободным, чтоб его черт чучумо роги фар! Но ничего, придет время! Какие я силы чувствую в себе! Какое предназначение! Ты знаешь, — шептал он, — я — главная Стальная Птица...

— Ты главная! Главная! Главная! — задыхалась Зиночка.

— Кукубу! — вскрикивал Попенков.

— Поделись со мной своими планами, моя Стальная Птица, — нежно лепетала после паузы Зиночка.

Попенков выбегал из будуара и возвращался в чугунных сапогах на босу ногу.

— Я все могу, — говорил он, расхаживая вокруг ложа, — я все устрою как захочу. Вначале я завершу свой маленький эксперимент с этим маленьким шестистакенным домом. Я всех их засажу за ткацкие станки, всех этих интеллигентов. Они все у меня будут ткать гобелены, все эти Самопаловы, Зельдовичи, Николаевы, Фучиняны, Проглотилины, Аксиомовы, Цветковы...

— Цветкова тоже? — сухо спросила Зиночка. — По-моему с Цветковой следует поступить иначе.

— Ха-ха-ха, тебе нужна Цветкова? — покровительно засмеялся Попенков. — Бери ее, крошка.

— Спасибо, — сокровенно улыбнулась Зиночка.

— Что ты хочешь с ней сделать? Фучи элази компфор трандирацию? — спросил Попенков.

— Фучи эмази кир мадагор, — ответила Зиночка.

— Кекл федекл? — расхохотался Попенков.

— Члок буритано, — хихикнула Зиночка.

— Муги халоги ку?

— Лачи артуго холенон.

— Буртль?

— Холо олох, ха-ха-ха! — дико, как кобылица, взревела Зиночка.

— Кукубу! — вскричал Попенков.

Пауза и молчание, хотение и вожделение, шебуршание и осквернение, омерзение, гниение, возрождение и само-

зарождение, трепыханье, глотание, поглощение, исторжение, задушение, уничтожение живого, легкого, такого, с походкой теленка, с глазами олененка, с яблочными грудками, с глазами-изумрудками, с сердцем-апельсинчиком и с таинственной душой доброго человека — уничтожение!

А между тем глава кончается, и годы идут, стареют некоторые особы, а некоторые растут и на мягких подушках, на потных кулачках видят любовь и высшую школу, рекорды и славу, земные дары и никто не видит смерти, а наоборот все видят картины жизни, и никто во сне не слышит, как тихо гудит, поднимаясь и опускаясь, казалось бы бездействующий лифт, и даже доктор Зельдович спит теперь крепко, а теплые вещи до зимы упрятаны в сундук, под нафталин.

Ночной полет Стальной Птицы

a/ Обращение к Медному Всаднику.

Отсель грозить ты думал шведам?
 Ну-ну. Вот этот город заложил на зло
 надменному соседу? Ну-ну. Всего делов-
 то — флот, Полтава, окно в Европу.
 А знаешь ли ты кто перед тобой? Я —
 Стальная Жиза Чуиза Дронг! Мне
 памятников не нужно — я сам
 летающий памятник. Захочу и
 проглочу, захочу — помилую! Не поми-
 лую, не надейся. Съем тебя, Петр Алексеевич.

b/ Обращение к памятнику Юрия Долгорукого.

Я лошадь вашу съем, шашлыки сделаю
 из вашей лошади. В "Арагви" вашу
 лошадь — на кухню! А вас я уже съел.

в/ Обращение к памятнику Тысячелетия России.

Тоже мне дата — жалкая тыщонка!
 Что это за людшки в рясах, в

мантиях, в доспехах, в камзолах, во фраках? Всех расплавлю и сделаю кашу из бронзы, и будет здесь памятник бронзовой каше! а я ее буду есть.

г/ Обращение к памятнику Авраама Линкольна.

Не важничай, Абрашак! Негров
освободил? Нечего этим гордиться.
Никаких возражений — на помойку!
А на помойке я тебя съем.

д/ Обращение к памятнику Варшавского гетто.

Ну, тут и разговаривать нечего! Всех
в печь, а Мордехая Анилевича уже съел.

е/ Превращение в спутника Земли и обращение ко всему человечеству.

Говорит спутник Земли Стальная Птица. Все ваши искусственные спутники я уже съел. Уважаемые, большой сюрприз готовится, большая чистка, очистка планеты от памятников прошлого. Прошлого не будет, будущего не будет, а настоящее я уже съел. Уважаемые, дисциплинированно поедайте памятники! Теперь памятник у вас один — очаровательный спутник Стальная Птица. Готовьте насесты, от каждого города по насесту, иначе я вас съем.

Воспоминания врача

Он пришел ко мне и пожаловался на аппетит. Живот действительно был раздут и весь в синих линиях. Ушел от меня аппетит, сказал он. Так вы действуйте через милицию, дерзко посоветовал я. А как же пищеварительный тракт,

спросил он. Действительно, некоторые заклепки кишечника разболтались, болты дребезжали, а иные сварные швы поползли. В конце концов, я не инженер и мы живем не в научно-фантастическом романе, а в обыкновенной советской действительности, заявил я ему и умыл руки. Ну хорошо, Зельдович, в конце концов окажетесь здесь, сказал он и хлопнул себя по вздутому животу. Я открыл окно и предложил ему очистить помещение. Он вылетел в окно. Полет был тяжелым, иногда он проваливался, как самолет в воздушных ямах, но потом вдруг стремительно взмыл и исчез. Конечно, я понимаю, что за смелость надо платить, но перспектива оказаться у него в желудке, в этом стальном мешке, прямо скажу, мне не очень улыбается.

Справка техника-смотрителя

За истекшие годы в результате перестройки цокольного этажа, а также в результате почти беспрерывных ритмических сотрясений правого угла бывшего вестибюля происходит разрушение фундамента и оседание правого угла дома № 14 на манер итальянской башни в городе Пиза (консультация в Обществе СССР-Италия). Сточные воды из вновь возникшей автономной канализационной системы активно размывают грунт.

Ситуация аварийная, можно сказать, спасайте, люди добрые! Представитель фундамента, краеугольный камень, в личной беседе заявил, что они смогут продержаться не более двух месяцев.

Настоящим предупреждаю и, пользуясь случаем, заявляю на основании вышеизложенного, что при дальнейшем наличии отсутствия действенных мер по организации спасения дома № 14, которого люблю и обожаю, сниму с себя полномочия техника-смотрителя и в состоянии душевной дисгармонии покончу с собой посредством пеньковой веревки.

Партия корнет "а" пистона

Тема: Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесочкой мельканье рук...

Импровизация: Рушится фундамент, наползают тучи, словно ива клонится, наш родимый дом. Наклонился, родный, словно башня в Пизе, точат его воды, сточные притом. Молодые жители, старые герои, не подозревая проживают в нем. Будет катастрофа, сердце сильно бьется, руки опустились, горе в животе...

Конец темы: Спасайте, люди добрые!

Глава четвертая

Вновь возвращаясь на путь строго хронологического повествования, должен сообщить, что от начала повести прошло ровно восемнадцать лет. Те перемены, которые произошли за это время в жизни общества, известны каждому читателю, поэтому распространяются о них нечего. Продолжу унылое свое дело и буду плести паутину сюжета, ту паутину, в которую сами того не ведая попали мои герои, в которой они до поры, до времени нежатся, подставляя ласковому майскому солнцу свои изумрудные животики.

Замечательным майским вечером старший сын парикмахера Самопалова Ахмед, ставший к тому времени очень известным, почти фантастически знаменитым молодым писателем, одним из тех кумиров молодежи, что разъезжают в маленьких машинах марки "Запорожец" и появляются всегда именно в тех местах, где их не ждут, этот самый Ахмед Львович Самопалов возвращался к себе домой на Фонарный переулок. Автомашину свою "Запорожец" Ахмед совсем недавно загубил и продал в утиль, поэтому возвращался домой пешком. Возвращался он разгоряченный баталиями в Центральном доме литераторов, все еще бурно полемизируя в уме с

оппонентами.

— "Не вышел номер, старик не помер", — думал он.
 — "Ну, хорошо, вы блокируетесь, приходите, гады, сидите, хихикаете, подзуживаете, мешаете вести игру, так? И в заключение выставляете против меня какого-нибудь своего подкованного подонка, так? Вам кажется, что и удар у него сильный и хорошая защита, да? Вы уже крест поставили на Ахмеде Самопалове, верно? Шиш вам, мне достаточно двух перекидок, чтобы нащупать его слабину, вижу прекрасно, что крученые в правый угол стола он не тянет. Бью ему сначала пару сильных справа — тянет, укорачиваю — тянет, тут я ему закручиваю в правый угол и если даже он каким-то чудом вытянет, сразу подрезаю слева и привет от Бени, очко в мою пользу. Деятели тоже мне, гении, ракетку правильно держать не можете, пупсики!"

Тут вдруг Ахмед ахнул, дернулся, схватился за сердце, потом за пульс, потом закрыл глаза, потом открыл их, потом щипнул себя за ногу.

По другой стороне улицы в тени, в голубом морском озоне вышагивал редкий экземпляр человеческой породы, длиногое, синеокое, загорелое, секспапильное, светлое, задорное — девушки. Ахмед забарабанил про себя боевой литературный гимн, потому что это шел идеал, кумир, боевая лошадка молодой московской прозы 1965 года, тайная мечта всех владельцев автомашины "Запорожец", начиная еще с патриарха Анатолия Гладилина.

Не знаю, как получится в печатном тексте, но сейчас я пометил страницу своей рукописи цифрой 88. Это вышло совершенно случайно и знаменательно, ибо 88 на языке радиостанций означает любовь, что обнародовано поэтом Робертом Ивановичем Рождественским.

Ахмед Львович отбарабанил гимн и решительно рванул-ся.

— Ниночка! Вот так встреча! Давно приехала? Наших ви-дела? — крикнул он, изображая неслыханную и абсолютно товарищескую радость.

— Здравствуйте, Ахмед Львович, — засмущалась девушка, замедляя шаги, краснея и опуская глазки долу.

— "Популярность, жуткая популярность, чудовищная известность", — бешено пронеслось в голове Ахмеда.

— Ну, как там наши? Как загорела, вытянулась, просто взрослая женщина, — ласково зажурчал он, беря девушку под локоток. — Давно оттуда, Ниночка?

— Ну как же, Ахмед Львович, какая же я Ниночка, меня Алей зовут, я Аля Цветкова с вашей же площадки, — залепетала девушка, — а ваших я утром видела, и Льва Устиновича и тетю Зульфию, и тетю Марию, и тетю Агриппину, и Зараб меня на мотоцикле утром катал... А вот вас я уже пять дней не видела, Ахмед Львович.

Вполне понятно, что она не видела его так долго. Ахмед Львович вот уже пять суток не ночевал дома, а все вращался в литературной среде, играя в кости, в буру, в преферанс, в подкидного, в "кингу", в девятку, в пинг-понг.

— Боже мой, да вы значит Аля, Маринина дочка! — воскликнул Ахмед. — Что же с вами случилось за эти пять дней?

— Да вот сама не знаю, что случилось, — ответила Аля.
— За пять дней видите какая стала. Мужчины проходу не дают, а ваш брат Зараб каждое утро на мотоцикле катает. На прошлой неделе и подойти не давал к мотоциклу, даже пальчиком дотронуться до него не разрешал, — всхлипнула она.

— Ну знаете, ну знаете, ну знаете, Аля, Аля, Алечка, Алечка, — забормотал Ахмед и подумал: "Зарабке в случае чего мотоциклом по голове".

Они шли уже по Фонарному переулку, и сама судьба катила им навстречу в виде веселого сосредоточенного старика на роликовых коньках с задорно вздернутой бородкой, с длинным шестом, которым он вздувал люминесцентные фонари, как будто это были газовые фонари блаженной памяти XIX века, и фонари загорались под солнцем, которое тоже, как судьба, сидело на трубе дома № 14, свесив худенькие ножки в полосатых чулках, покуривая и подмигивая, и небо было синим, как их яркосиняя судьба, и без единого крестика, без

единого бомбардировщика, допотопно счастливое небо с маленькими оранжевыми уголками.

— Ну, а книжки ты мои читала? — вспомнил вдруг Ахмед про свое положение в обществе.

— Как же, читала, — ответила Аля. — Мы их в школе проходили. Наш преподаватель литературы Бровнер-Дундучников ваши книжки разбирал и очень вас ругал, а я ему сказала, что вас люблю.

— Что? — вскричал Ахмед, сильно сжимая Алин локоть.

— Да, я так ему и сказала. Я люблю творчество Ахмеда Самопалова за то, что он интересно ставит вопрос об отчуждении личности. А потом у нас была совместная конференция по вашему творчеству с фабрикой мягкой игрушки № 4, и все работницы этой фабрики сказали, что вы интересно ставите вопрос об отчуждении личности, а Бровнер-Дундучников ничего не мог сказать. Я, можно сказать, только из-за этой общности интересов поступила после школы работать на фабрику мягкой игрушки № 4.

В четвертый раз уже мимо промчался мотоцикл Зураба Самопалова со снятым глушителем, жутким треском выражая свое негодование. Сам Зураб в полном отчаянии, в жуткой вос точной ревности бежал за ним.

— Значит, вы меня любите? — вкрадчиво спросил Ахмед.

— В основном, как писателя, — сказала Аля.

С этими словами они вошли во двор.

Во дворе на солнцепеке сидели два члена совета пенсионеров — бывший замминистра З. и Лев Устинович Самопалов, а также дворник Юрий Филиппович Исаев. Уже который час они обсуждали вопросы литературы и искусства.

— Я так считаю про этих абстрактистов, — говорил Юрий Филиппович, — не умеешь рисовать, не берись, не дури. Лично я живопись люблю и понимаю все, как полагается. Сам когда-то рисовал. Люблю картину Левитана "Над вечным покоем", это выдающаяся акварель. Заметили, товарищи, какое там изображено обширное пространство? А мы сейчас покоряем это пространство, вот почему эта художественная картина так

хороша. А твой Иван, Лев Устинович, настоящий абстрактист, формалист, ненадежный элемент. Не знаю, куда Николаев смотрит, о чем он там в ЖЭКе думает, когда абстрактисты под боком тлетворно влияют на духовно зрелую молодежь.

— Неправда ваша, Филипич, мой Иван — фигурист! — горячо возражал Самопалов. — Конечно, он деформирует, пропускает, так сказать, натуру через воображение, через фантазию, но это не формализм, Филипич, а поиски новых форм.

— Фигурист, говоришь? — сердился Юрий Филиппович.

— А вот давеча я ему позировал, так он как меня изобразил? Лобик маленький, личность, как волдырь напитой, а сбоку еще пририсовал голубой ножик, это зачем?

— Зря обижаетесь, Филипич, это он вашу внутреннюю сущность изобразил, а не фотографический отпечаток.

— Выходит, моя внутренняя сущность — волдырь напитой?

— Выходит, волдырь, — соглашался Самопалов.

— Под корень их надо сечь, твоих таких фигуристов!

— орал Исаев. — В другое время как секанул бы под корень и дело с концом. Правильно я говорю, товарищ Зинолюбов?

— Вы должно быть имеете в виду времена Белинского, Юрий Филиппович? Времена неистового Виссариона? — мягко улыбался З.

— Правильно, товарищ Зинолюбов! Именно эти времена!

— шумел дворник.

— Мягче надо, — говорил З., — тоньше, деликатней. Не забывай, Юрий Филиппович, с талантом надо осторожно, не все сразу.

— Чего ругаетесь-то, Филипич? — сказал Самопалов.

— Чего базlaeт? Чего вам спать не дают мои сыновья? Помрем ведь все скоро, песчинками станем в потоке мироздания.

— Философски правильно, — заметил З.

— А я что говорю? Я разве не согласен? Конечно, скоро песчинками станем в философском вихре мироздания, — сказал дворник. — Поэтому и надо пока не поздно по шапке

надавать кое-кому, под корень секануть всю эту братию.

— Мягче, мягче, Юрий Филиппович, тоньше, интеллигентней, — увещевал З. бывшего своего стража.

Вот так часами сидели пенсионеры, часами обсуждая вопросы литературы и искусства. Еженедельно эти вопросы ставились в повестку дня заседания Совета пенсионеров, где мнения фиксировались для истории.

А в глубине двора, отбросив домино, обсуждали вопросы литературы и искусства Фучинян, Проглотилин и Аксиомов.

— Сегодня пустил станок, достал книжку, читаю, — рассказывал Василий Аксиомов. — Ну, значит, читаю такую небольшую книжку. Подходит главный инженер. Что читаете, Аксиомов? Перевернул я книжку, прочел название. Оказывается, Ахмедка наш Самопалов книжку эту настрочил. "Оглянись в восторге" называется эта книжка. Нравится? — спрашивает главный инженер. Сильно, говорю, взято, так, говорю, и шпарит через точки и запятые. Мура! — кричит от своего станка Митя Кошелкис. Я, кричит, эту книжку наизусть знаю, мура полная. Тут все ребята загадели. Одни кричат: оторвался от народа! Другие: связь с народом! Ничего не поймешь. Главный инженер говорит: мнения разделились. Давайте обсудим. Прошу остановить станки. Остановили станки, стали эту Ахмедкину книжку обсуждать. Мастер наш Щербаков по конспекту выступал. Пришел директор, подключился. Горячий у нас директор, заводной. До обеда прогудели.

— Я эту книжку читал, — сказал Толик Проглотилин. — Вчера диспетчер мне ее дал вместе с нарядом. Тут случай был. Еду по Садовому, читаю. Чуть под красный свет не проехал. Смотрю, в стакане старшина сидит, читает. Что читаешь, старшина? — спрашиваю. Он показывает — "Оглянись в восторге". Здорово, правда? — кричу я. Ничего, кисло так улыбается он, влияние Бунина, говорит, чувствуется, а также Роб-Гри耶. Тут сзади на меня полуприцеп наехал. Тоже зачитался водитель. Ну, провели летучую читательскую конференцию.

— А я эту книжечку тоже прочел, — сказал Фучинян.

— Вчера под Крымским мостом ёбель чинили, так я ее взял

в скафандр. В шлем перед глазами поставил, чиню себе кабель, а сам читаю. Честно говорю, ребята, зачитался. Не заметил, как воздушный шланг порвал. Здорово ставит там Ахмед про отчуждение личности.

— Это верно. Что верно, то верно, — согласились Аксиомов и Проглотилин.

Словом, был мирный и теплый весенний вечер. В трех окнах играли на скрипках, в пяти на роялях. Из одного окна по радио передавали партию корнет "а" пистона. Грузчики неторопливо подтягивали на блоках еще два рояля, один из них висел пока на уровне третьего этажа, другой подползал к шестому. Из окна Марии Самопаловой долетал непрекращающийся стук ткацкого станка. Агриппина, развесив во дворе несколько новых старо-французских gobelenov, выколачивала из них трудовую пыль. Художник-фигуратист Иван Самопалов выставил в окно свой очередной портрет, отливающий вороной сталью образ человека-птицы, продукт формалистического воображения. Все еще очаровательная Марина Цветкова сквозь дикий плющ, затеняющий ее окно, наводила зеркальцем зайчик на бывшего замминистра Зинолюбова.

Ну, что там еще было? Ну, дети-футболисты метко били по окнам первого этажа. Ну, ворвался во двор разъяренный мотоцикл. Ну, Зураб, наконец, оседлал его и стал кружить по двору, иногда взлетая на брандмауэр. Ну, вошел во двор младший Самопалов Валентин в техасских джинсах, в ластах, в маске, с аквалангом за спиной, с транзистором на груди, с кинокамерой в кармане, с гитарой в руках, он исполнял big beat, крутил хула-хуп, снимал через карман любительский кинофильм. Ну, и наконец всем на удивление под аркой Ахмед Самопалов целовался с юной Алей Цветковой, перемежая поцелуи клятвами в вечной любви.

Под аркой появился доктор Зельдович. Увидев целующегося Ахмеда, он обратился к нему:

— Добрый вечер, Ахмед. Добрый вечер, Аленька. На конфетку, покушай. Вы знаете, Ахмед, сегодня во время операции заспорили мы о литературе. Вскрыли брюшную

полость и как-то заговорились. Ну, естественно, вспомнили вашу "Оглянись в восторге". Операционная сестра как раз читала в этот момент вашу книгу и сказала, что она без ума. Я тоже отдал вам должное, Ахмед, но, признаться, и пожурил за отдельные недостатки. Наш анестезиолог безоговорочно на вашей стороне, а больной, которого мы оперировали, сказал, что книга хоть и интересная, но вредная.

— Надо было дать ему наркоз, — недовольно сказал Ахмед.

— Представьте, какая странность, он говорил под наркозом, — сказал Зельдович. — В общем, заговорились мы и решили провести операцию в два этапа. Больной сказал, что ко второму этапу он подготовит аргументацию с цитатами. Ну, извините, я вас отвлек. Всего доброго. Новых успехов.

Зельдович юркнул было в черный ход, но сейчас же выскочил оттуда, потому что навстречу ему вышли Вениамин Федосеевич Попенков с женой Зинаидой.

Попенков мало изменился за эти годы, лишь появилась в нем некая устойчивость, тяжеловатость, категорическая властность во взгляде. Зинаида напоминала праздничный торт. Тотчас, как они появились, замолкло радио в пятом этаже, и во двор выбежал запыхавшийся Николай Николаевич, на ходу натягивая подтяжки. Извинившись за опоздание, он присоединился к Попенковым и пошел за ними, чуть отставая.

Во дворе сразу установилась напряженная тишина, если не считать поцелуев, прерывистого шепота под аркой, треска мотоцикла, криков big beat'a и мычания легкомысленного художника.

— У Самопаловых отключить воду и свет за издевательскую формалистическую карикатуру, — бросил через плечо Попенков.

Николай Николаевич записал.

— Как же мы без воды, без света? — ахнул Лев Устинович. — Семья большая, Вениамин Федосеевич, сами знаете, не побриться, не постричься...

— А почему кумни тари хучи ча? — крикнул разъяренный

Попенков.

— Что-с?

— А почему ваш сын не хочет поставить свой талант на службу народу? — перевела Зинаида.

— Вениамин Федосеевич, а как мой вопрос? Разбирали?

— обратился Зинолюбов.

— Брак с Цветковой? — ухмыльнулся Попенков.

— Чичи мичи холеонон, — шепнула ему на ухо Зинаида и расхохоталась.

— Так точно, брак с Мариной Никитичной Цветковой, — подтвердил Зинолюбов. — Осуществление старой мечты. Когда-то вы говорили, что несколько раз спасали мне жизнь, Вениамин Федосеевич, а однажды даже спасли в реальном плане, — он покосился на Зиночку. — Теперь у вас еще одна возможность.

— Кукубу с Цветковой? Чивилих! Клочеки, дрочеки рыкл екл!

— Брак с Цветковой? Никогда! В случае неповиновения отключим свет, воду и канализацию, — перевела Зинаида и от себя добавила. — Канализацию, понятно? Понимаете, чем это пахнет, товарищ Зинолюбов?

— Он совсем уже забывает русский язык, эта Стальная Птица, — сказал Ахмед Самопалов Але.

— А черт с ним, — сказала Аля. — Поцелуйте меня, пожалуйста, еще раз, Ахмед Львович.

Обход двора продолжался. В центре Попенков остановился и стал рассматривать очень внимательно стены дома и раскрытые окна квартир.

— Вениамин Федосеевич, я еще вчера хотел вам сказать, — осторожно обратился Николаев. — Дело в том, Вениамин Федосеевич, что вами заинтересовались.

— Что? Как? Где? — вскричал Попенков. — Где мной заинтересовались?

— Там, — многозначительно сказал Николаев и показал большим пальцем в небо.

Попенков упал на живот и пополз, выворачивая голову

наподобие провинившегося пса и высовывая язык. Потом он вскочил и на пуантах, подчиняясь одному ему слышной трагической музыке, заскользил по двору. Асса, шептал он себе под нос, асса, танец всем на загляденье, оп-па, оп-па, оп-па-па!

Весь двор с интересом следил за пирамиадами Попенкова, за его скачками, за трагическими всплесками и вывихами рук, за огненными улыбками, поклонами и эквилибристикой в адрес зрителей, за волчкообразным вращением и замиранием в трепетании.

Николай Николаевич, поначалу завороженный танцем, перепугался насмерть, когда Попенков лег на асфальт. Он подбежал к нему, прилег рядом и зашептал:

— Вениамин Федосеевич, встаньте, родной! Не терзайте мое сердце. Вас хотят ввести в комиссию за культурный быт. Учитывая ваш опыт, Вениамин Федосеевич, вашу хватку, вкус...

Попенков быстрым прыжком вскочил и отряхнулся.

— Что ж, я согласен! — воскликнул он. — В комиссию я охотно. Давно пора меня в комиссию, шуши маруши форматрон!

— Я наведу в быту порядок, — перевела Зиночка.

— Кстати, Николаев, — Попенков медленно пошел по двору и сделал знак начальнику ЖЭКа следовать за ним.

— Кстати, руфир харатари кобло батор...

— Будьте любезны, по-русски, — взмолился Николаев.

— Пора уже понимать, — раздраженно сказал Попенков.

— Ну, ладно. В общем, так. Завтра мои родственники хотят переоборудовать крышу, сделать там люк, чтобы я мог из лифта выходить прямо на крышу.

— Зачем? — в панике спросил Николаев.

— Как зачем? Вы знаете, что я иногда пользуюсь лифтом для... для прогулок. Хочется иной раз и на крыше посидеть.

— Это я, конечно, понимаю, — сказал Николаев, — ваше желание мне понятно, но дело в том, Вениамин Федосеевич, что наш дом в очень тревожном, почти в аварийном состоянии. Сегодня мне об этом докладывал техник-смотритель, и я

боюсь, что отверстие в крыше совсем расшатает устои...

— Ерунда. Паникерство. Технику-смотрителю давно пора в мир иной, — сказал Попенков. — Короче, дискуссии закончены. Завтра мои родственники сделают люк.

Вдруг над двором пронесся крик.

— Граждане!

И все, подняв головы, увидели техника-смотрителя, стоящего на карнизе пятого этажа. Балансируя, он махал руками, словно большая бабочка билась в невидимое стекло.

— Граждане! — кричал он. — Третью ночь не сплю, ничего не ем, зубы расшатались, покидают силы... Граждане, наш дом в аварийном положении! Посмотрите, неужели вы не замечаете, он стал наподобие итальянской башни в городе Пиза. Фундамент может продержаться не больше недели. Он сам мне об этом сказал! Граждане, необходимы срочные меры! Граждане, все докладные записки кладут под сукно!

Чтобы не упасть, техник-смотритель делал кругообразные движения руками, но был похож не на птицу, а на несчастную бабочку, потому что на нем был широченный цветной женин халат, из-под которого высовывались нагие ноги.

Никто не заметил, как оказался на карнизе Попенков, все только увидели, что он быстро скользит к технику-смотрителю.

— Граждане! — в последний раз воззвал техник-смотритель и в это время был схвачен стальной рукой Попенкова, смявшей в мгновение ока яркую ткань халата.

— Видели психа? — гаркнул вниз Попенков, рассыпая молнии из горящих глаз, таща подмышкой обвисшее тело техника-смотрителя. — Граждане, он сумасшедший! Никулю чикулу грам, оус, сую! — Психам и паникерам нет места в культурном быту! — крикнула Зинаида.

Попенков с телом техника-смотрителя молниеносно вскарабкался по водосточной трубе, прогрохотал по крыше и скрылся в слуховом окне.

Жильцы, ошарашенные и возбужденные, приступили к Николаю Николаевичу. В чем дело? Что случилось? Есть ли

основания для эвакуации? Из-за чего тронулся техник-смотри-тель?

— Граждане, сохраняйте полное спокойствие, оставайтесь на своих местах, — уверевал их Николаев. — Конечно, определенные основания для беспокойства имеются, фундамент в довольно напряженном положении, я тоже с ним беседовал, но катастрофа рисуется только в отдаленной перспективе, где-то в конце квартала, не раньше. Граждане, завтра утром я иду в райжилуправление, даю там бой. Вернусь иль на щите, иль со щитом. Хотелось бы, чтобы ваши мысли и сердца были в этот момент со мной.

— А что это мы слышали, Николай Николаевич? — крикнул Проглотилин. — Попенков крышу собирается долбить?

— Так мы и до конца квартала не дотянем, рухнет хибара! — завопил пронзительно Аксиомов.

Фучинян, сгруппировавшись, прыгнул в центр круга.

— Здесь Фучинян! — крикнул он. — Все меня знают — я здесь! Я этого дела не допущу. Крыша будет цела! А Стальной птице крылышки мы пообломаем. Васька, Толик, верно я говорю?

— Попилим на расчески Стальную Птицу! — крикнул Васька.

Жильцы загудели.

— Никулу чикулу грам, оус, сую! — в панике закричала Зинаида Попенкова. — Николай Николаевич, что же это получается? Стихийное сумасшествие?

— Граждане, спокойствие. Граждане, порядок, — уверевал Николаев. — Снятие части крыши не угрожает непосредственной катастрофой. Граждане, надо понять Вениамина Федореевича, надо войти и в его положение. Граждане, спокойствие. Граждане, давайте договоримся.

Но толпа еще сильнее загудела, возбуждаемая боевым и напористым видом Фучиняна.

— Это все из-за Попенкова! — кричали люди.

— Всю ночь дом сотрясает невероятным образом!

— Выселить его!
 — Открыть парадное!
 — Надоело!
 — Долой Стальну Птицу!

— Граждане, я постараюсь войти с этим вопросом к Вениамину Федосеевичу, — умолял Николаев (никто не узнавал сурового администратора), — постараюсь его уломать. Граждане, я почти обещаю, что крыша будет цела.

Солнце закатилось, сгущались сумерки, но жильцы не расходились, и в глухо гудящей толпе вспыхивали спички, трепетали огоньки зажигалок, мерцали сигареты и глаза, весь темный двор был наполнен тревожным шевелящимся мерцанием. Фучинян, Проглотилин и Аксиомов по пожарной лестнице полезли на крышу. Они решили спасти ее своим бдительным дежурством и готовностью к любому, даже смертельному бою. Младшие Самопаловы, Зураб и Валентин, блокировали черный ход. Ахмед и Аля Цветкова вызвались подежурить в садике. Товарищ Зинолюбов занял наблюдательный пост в квартире Цветковых. Мария Самопалова и Агриппина объявили забастовку и легли спать впервые за восемнадцать лет. Лев Устинович выправил бритву, а Зульфию вооружил ножницами. Словом, все жильцы внесли посильную лепту в коллективный протест против самоуправства Попенкова.

Ночь прошла тревожно, спали урывками, целовались лихорадочно, курили, курили, иные выпивали, иные готовились к эвакуации, никто не знал, что принесет утро.

Фучинян, Проглотилин и Аксиомов сидели на коньке крыши, давили на троих, настроение было приподнятое, вспоминались былье бои на пространстве от Волги до Шпрее. Несколько раз им казалось, что над ними, застилая звезды, с тихим реактивным свистом проносится какое-то темное тело, и они тогда жалели, что не располагают зенитной установкой.

Солнце поднялось быстро, выкарабкалось из городских теснин, повисло над Москвой. Крыша сразу раскалилась.

В восемь часов утра бойцам самообороны показалось,

что под ними, на чердаке, кто-то есть. Быстро заняли боевую позицию, сгруппировались. Из слуховых окон вылезли родственники Попенкова — родственник Кока, родственник Гога и родственник Дмитрий. Они были с топорами, с пилами-ножовками, с молотками.

— Привет, хлопцы! Загораете? — сказал родственник Дмитрий бойцам самообороны. — А мы с утра пораньше за работу.

— А ну-ка, мальчики, весело с песнями вниз! — скомандовал Фучинян и выдвинулся вперед.

— Посмотри, Митя, — сказал родственник Кока, глянув на мостовую, — высота большая. Если кого случайно толкнуть — в лепешку! Как ты думаешь?

— Кисель будет из человека, — грустно предположил родственник Гога.

— Жидкость, — подвел итог родственник Дмитрий и начал пилить крышу.

— Сейчас проверим, что получится, — сказала самооборона и засучила рукава. Крыша вздулась и хлопнула под их первым тяжелым шагом.

Родственники,бросив свои шуточки, тоже сгруппировались и двинулись навстречу. Татуированные их мускулы надулись таким образом, что, казалось, это движутся не три человека, а сцепление страшных шаров; из кулаков их щелчками выскочили узенькие жала стопорных ножей; оскаленные золотые зубы отсвечивали солнце; также отсвечивали солнце перстни, браслеты, брелоки, серьги и кольца. В жгучем свете утреннего солнца на бойцов самообороны двигалась в заграничных жилетах и кованых башмаках яркая жизнерадостная смерть.

— Васька, правого бери! Толик, левого бери! А я Гогу нехорошего возьму! — завопил Фучинян и бросился вперед.

Началась самооборона без оружия. Стопорные аргентинские ножи родственников со свистом рассекали воздух, но попадали в пустоту. Фучинян, Проглотилин и Аксиомов, вспоминая уличные бои, дергали родственников за ноги, били им

по носам. Слезы и сопли родственников фонтанами вздымались в голубое небо, но все-таки ножи есть ножи, и пролилась кровь, и оттеснили наших молодцев к краю крыши.

Вдруг в тылу у родственников послышался грохот. По крыше ползли четыре брательника Самопаловы, писатель, художник, мотоциклист и big beat.

— Отступаем! — скомандовал родственник Дмитрий и первым спрыгнул вниз. За ним сиганули с крыши родственник Кока и родственник Гога.

Бойцы самообороны в ужасе склонились, вообразив себе превращение этих мощных организмов в лепешку, в кисель, в жидкость. Однако, родственники приземлились благополучно и бросились наутек в разные стороны.

В 8 часов 30 минут на северной торцовой стороне дома появилась первая трещина. В трещину высунулась Мария Самопалова и закричала на весь Фонарный переулок:

— Ратуйте, люди добрые!

В 8 часов 45 минут у парадного подъезда скопились все жильцы дома № 14, а также сочувствующая публика из соседних домов. Домашние животные, кошки, шпицы, фокстерьеры, доги, прыгали из окон на мостовую. Выпущеные из клеток чижи, канарейки, попугай многоцветным облачком парили над толпой. Из водосточных труб лилась изумрудная вода аквариумов, а в ней струились вуалехвосты, красноперки, вьюны. Хлопали ставни, сквозняки гуляли по опустевшим квартирам, опрокидывая горшки с вечнозеленой флорой. Слышались стенания. Жильцы тосковали по оставленным вещам, по предметам обихода, по дорогим и милым безделушкам.

В толпе метался во вздутом женином халате техник-смотритель.

— Граждане! — кричал он. — Я произвел расчет. Дом еще может продержаться двадцать семь минут. Можно еще что-то спасти! Надо только открыть парадное! Очистить вестибюль!

— Открывай парадное!

— Ломайте двери!

— К чертям собачим!

— Гарнитур, родненькие, только купили! Семь лет копили, не пили — не ели!

— Ломай!

Двери уже гнулись под напором толпы, а внутри Попенков спокойно завязывал галстук, вкалывал в него бриллиант, полировал ногти, влезал в чугунные сапоги.

— Ты что-нибудь придумаешь, правда? — металась подпрыгивая, как пушбол, Зинаида. — Ты найдешь выход, милый, родной, гений человечества, моя гигантская стальная птица? Жужко жирнава жуко журо?

— Ноки мурлоки квакл читазу! — спокойно ответил Попенков. — Ты боишься этой толпы, моя Лорелея? Жалкая толпа, вшивота. Десять минут работы для циклона. Филио дронг чириолан!

И одним махом сорвав все гвозди, он распахнул дверь и предстал перед жильцами.

Наступила тишина. Техник-смотритель, вспомнив вчерашнюю таску, спрятался в толпе.

— Зачем вы собрались? Чего вы хотите? — спросил Попенков, скрестив руки на груди.

— Хотим вышвырнуть тебя вон, Стальная, — ответил перебинтованный и совершенно героический Фучинян.

— Вышвырнуть вон? — усмехнулся Попенков. — А теперь выслушайте мои условия. — Глаза его зажглись далеким тайным и страшным огнем, из горла вырвались звуки, похожие на реактивные выхлопы. — Дронг халеоти фынг, сынг! Жофрыс хи ласр фури талот...

— А мы вашего языка не понимаем! — крикнули из толпы. — Уходите, товарищ, покуда цел!

Попенков с видимым усилием перешел на русский язык.

— Мои условия таковы. Все возвращаются по своим квартирам, получают ткацкие станки, станки прибудут к вечеру, и — за работу. Понятно? Коё-кем, конечно, придется пожертвовать. Некоторые будут подвергнуты чизиоластрофации. Чучуху, клочеки, дрочеки?

— Если ты нас хочешь взять на понял-понял, — сказал

Фучинян, — то мы сами тебя возьмем на понял-понял. Понял?

Он еще придинулся, и все придинулись, и Попенков вдруг действительно понял, что ему не сдобровать: кольцо сужалось, а прямо над ним висел проклятый жестяной козырек. Конечно, козырек можно было бы и пробить, но в этот момент как раз кто-нибудь и схватит тебя за чугунные ноги. Выхода почти не было, и он внутри себя уже расхохотался трагически над таким глупым концом своего большого дела.

В какое-то мгновенье настала вдруг полная тишина, и в это мгновение влетел дробный приближающийся цокот копыт. Стук копыт в Москве явление из ряда вон выходящее, все обернулись и увидели в конце Фонарного переулка галопирующую белую лошадь, на которой восседал начальник ЖЭКа Николай Николаевич Николаев. Было 9 часов 15 минут утра. Николаев возвращался из райжилуправления со щитом, да еще и на белой лошади с широкой грудью, с округлым мощным крупом, с лукавыми розовыми глазами, с челкой, развевающейся, как праздничный флаг. Неторопливо галопируя, лошадь напоминала старинную каравеллу, весело идущую по свежему морю под раздутыми белыми парусами.

Приблизившись и увидев толпу возле подъезда, увидев распахнутые окна и разветвленные трещины в стенах, Николай Николаевич вытащил из-за пазухи сверкнувший на солнце корнет "а" пистон и приблизил его к губам.

— Граждане родные, сестры и братишки! — торжествующе запел корнет. — Райжилуправление выделило дом! Дом восьмиэтажный, весь почти стеклянный, весь почти пластмассовый, уверяю вас! В сказочном квартале, в экспериментальном, всем на загляденье высится чертог! Голубые ванные, рядом унитазы, мусоропроводы ожидают вас! Каждому солярий, каждому дендрарий, каждому столовую, каждому бассейн! Собирайтесь, граждане, сестры и братишки, пестрым караваном к счастью потрусим!

— Ура! — закричали все жильцы и, забыв про Попенкова, ринулись в свое расползающееся жилище за вещами. Попенков успел юркнуть в лифт.

В девять часов тридцать минут к подъезду подошел обоз, посланный райжилупрлением. Это были мохнатые живчики-пони, задорно грызущие узорные удила, бьющие сильными копытцами в асфальт. Они были запряжены в небольшие, но вместительные тележки, украшенные фольклорной резьбой.

В девять часов тридцать девять минут погрузка скарба была закончена, и обоз весело побежал по Фонарному переулку. Цокали копытца, звенели бубенчики, реяли цветные ленты и флаги, играли гармоники, гитары, транзисторы, а впереди скакал на белом коне Н. Н. Николаев с корнетом "пистоном". Длинный караван змеился по московским улицам, направляясь к новой жизни, в Новые Черемушки.

В девять часов сорок четыре минуты дом № 14 рухнул. Когда рассеялась кирпичная пыль, немногие оставшиеся в Фонарном переулке увидели, что над руинами высится лишь шахта лифта. Через некоторое время из ее глубин начал подниматься лифт. В нем стоял замкнутый, ушедший в себя Вениамин Федосеевич Попенков. Когда лифт остановился на предельной своей высоте, Попенков открыл двери, присел на корточки и застыл, вперив безжизненный взгляд в необозримое пространство. Никто не знает, о чем он думал и что он видел вдали. Неизвестно также, видел ли он, как по Фонарному переулку подобно пушболу прокатилась, подпрыгивая, Зинаида.

Долгие месяцы он сидел на каркасе шахты совершенно без движения, как одна из химер Собора Парижской Богоматери.

Однажды в Фонарном переулке появились бульдозеры. Услышав хлопотливое урчанье их моторов, Попенков встрепенулся, прыгнул и полетел над Москвой, над арбатскими переулками, над голубым блюдом бассейна 'Москва', над большим Каменным мостом... За ним тянулись две темные полосы. Потом их развеял ветер.

Конец

Прощальный монолог Стальной Птицы

Рурро калитто Жиза Чуиза Дронг! Чивилих жифафа
кобло ураззо! Рыкл, екл, филмоча абстерчуаре? Фыло сыло
ылар урар!

Щур ырамтура ы, ы, ы! Жастри частри гастри нефол!
Нефол фолиадавр логи жу-жу? Уж жу руж жур оруж журо
олеожар! Ража!

Фага!

Лирри-отул!

Чивилох зузамаза азам ула лү? Лузи урози клочек ту-
пак! Зффтщ! Жмин перкатор сапала! Со! Па! Ла! Ал! Ап! Ас!
Спл! Вспыл севел фук жуарару! Рефо яром филиорам, отсююда
сиплство аны ына! Аны, ына, аны, ына, аны ына, аны! Пшпыл,
Пшпыл, пшпыл, пшпыл — вжиф, вжиф каракатал!

Общий хор

а все-таки цветы цветут и детство у всех в голове и ста-
рость просит руки тут некоторые с поцелuem уходят туда и с
жаром сливаюсь чтоб встретиться на небесах и масло на свежей
булке а ягоды в утренней росе в неразберихе светящихся пунк-
тиров где отыскать хитрую мордочку с ягодами на устах в
кварталах с гитаррой часовые любви наводят глянец на мос-
товые утренние голоса обещают нам молоко в свежей газете
очередные сообщения о проделках дельфинов младшие братья
в поверхностных светлых слоях океана пасут для нас косяки
вкусных и деликатных рыб и каждый в мечте о билете на
обыкновенный тысячеместный аэроплан чтоб пролететь над
океаном с приветом к морским пастухам а после вернуться к
своим старикам к своим детенышам-хитрецам засыпает чтоб
проскакать на деревянном скрипучем коне по лесу через по-
ляны в блеске весеннего утра весеннего лета и осенней зимы
летней весны и зимней осени зимнего лета и летней зимы зим-
ней весны и летней осени весенней зимы и осеннего лета

СТИХИ

Природа слов тепла не лишена,
В них наши тайны искрами повисли.
Я все отдаю за слово "тишина",
За слово "жизнь" в его прощальном смысле.
В решетку типографского дождя
Заключены мы, пленники Линнея.
Чем прозвенишь, что скажешь, уходя —
Все выживет, в фонемах каменея.
На будущие вечные дела,
Как сноп кистей, олифу и белила,
Пригоршню слов природа мне дала,
Кровоточащей глоткой наделила.
И чтобы свет сознания не мерк,
Чтоб серый холст не проступил в изъяне,
Гори, гори, словесный фейерверк,
Скрывая бред и сумрак обезьяний!
Как откровенны эти кружева,
Подобны полдню над безлистой чащей.
Плетись, Пегас, пока душа жива,
Вперед и вверх по лестнице звучащей.

Припомните случай Колумба,
Прообраз земного труда.
Он в Индию плавал, голуба,
А вышел совсем не туда.

Возьмите историю Брута —
Он кровью родство искупил,
Но в целом по-своему круто
С республикой он поступил.

Случаются в жизни моменты,
Когда на развилке дорог
Мы сами себе оппоненты,
Таланты себе поперек.

Особое место ученым
Из редкой породы зануд,
Которые черное черным,
А белое белым зовут.

Но мы из другого металла,
Такое загнем иногда,
Как если бы кошка летала
И резала камни вода.

Я "фита" в латинском наборе,
Меч Аттилы сквозь ребра лет.
Я трава перекатиморе,
Выпейветер, запрягисвет.
Оберну суставы кожей,
Со зрачков нагар соскребу,
В средиземной ладони Божьей
Сверю с подлинником судьбу.
Память талая переполнит,
И пойдут берега вразнос.
Разве озеро долго помнит
Поцелуи рыб и стрекоз?
Я не Лот спиной к Содому,
Что затылочной костью слеп.
Я трава поверникдому,
Вспомнидруга, преломихлеб.
Но слеза размывает берег,
Я кружу над чужой кормой —
Алеутская птица Беринг,
Позабывшая путь домой.

В мокрых сумерках осенних
Постучится у крыльца
Неотвязный собеседник,
Тень без тела и лица.

Сестры тихие в палате,
Темный сок из-под бинтов...
Я спущусь к нему в халате:
"Извините, не готов."

Он первом почешет в ухе,
Словно веником в шкафу,
Зачеркнет в своем гроссбухе
Надлежащую графу.

Скрипнет свежая перчатка,
Дробный дождик по плащу:
"Извините — опечатка.
Будет время — навещу."

Утром кровь на ревмопробу,
В вене светлая игла,
Долгий путь чужому гробу
Мимо сквера до угла.

Звездная баллада

В провинции, на тайном полустанке,
 Где на путях столетняя зола,
 Тоска моя, наставница в отставке,
 Забытый след овчаркою взяла.
 В мирке пропойц и станционных граций,
 Банальнейших ландшафтных декораций,
 Закованных в немытое стекло,
 Она меня настигла за колонной
 И обожгла. И время потекло
 Назад и вверх по плоскости наклонной.

Я онемел. И все, что было рядом,
 Застыло за магической чертой:
 Штиллебен со шрапнельным виноградом,
 Скамейка под супружеской четой,
 Дежурный в тюбетейке мухоморной,
 Саманный храм общественной уборной
 С извечными значками на стене.
 И только тень растерзанного рая
 Сгущала соль в отравленной слюне,
 Реальность мира удостоверяя.

Во двор, в новорожденный понедельник
 Я вышел наболевшей тишиной,
 Где три звезды в забавах рукодельных
 Веретено крутили надо мной.
 В нагорьях дров потрескивали мыши.
 Вокзальный садик над зигзагом крыши
 Упругие топорщил зеленя.
 Здесь все дышало, ерзало, пыхтело,
 И думало, и жило за меня,
 Глухой тоске предоставляя тело.

Товарняки текли по гулким жилам,
 Шипел в троллеях грозовой накал,
 Покуда я транзитным пассажиром
 В ночные тайны нехотя вникал.
 Землистый мир пакгаузных коробок
 Вдоль полотна негаданно бок о бок
 Сожительствовал с шатким тростником,
 Мой сонный мозг загадками опутав,
 Абстрактнейшим раздумьем ни о ком,
 Без примеси реальных атрибутов.

Чадили окна духотой казармы,
 Молочный пруд светился вдалеке.
 И я скжимал, как кукольник базарный,
 Тугие нити в потном кулаке,
 Как фокусник без должности и места.
 В обрывках осторожного норд-веста
 Консервной жестью лязгала листва,
 Бездомный пес мочился под черешней.
 И не было на свете естества
 Всесильнее меня и безутешней.

Но в миг, когда душа по бездорожью
 Переселялась в новое число,
 Огромной ночи тушу носорожью
 Вдруг хохотом безумным сотрясло.
 Он прокатился с триумфальным воем
 Над зыбким, неприкаянным покоем,
 Где правил сон бездумно и темно,
 Над сетью рек и перелесков дачных,
 И там, вверху, где три звезды коньачных
 Крутили надо мной веретено.

Меланхолическая баллада

Казалось, текст пошел ровней —
Почет ему и слава, —
Казалось, вырвалось перо
Из плена общих мест.
Но я-то слышал дотемна,
Как в глубине сустава
Возился пойманным зверьком
Невыполнимый жест.
По темной кухне взад-вперед
Слонялся я без дела,
В сомнамбулической тоске
Сжимал консервный нож,
Косился в окна, где листва
Так призрачно блестела,
И все шептал, и все шептал:
“Потери не вернешь!”

В обход невидимой страны,
Чей криптоним “природа”,
В гнездовья греческих руин
Ходил я на поклон.
Но это было так давно,
До моего прихода,
Когда я был Эдгаром По
У гарвардских колонн.
В конце — слиянье полюсов.
До той поры и светим,
До той поры мерцает мозг,
И кровь струится в нем,
Пока приходим в тесный мир
То тем лицом, то этим,
А в промежутках — тростником
Тугие стебли гнем.

Июньским вечером в ушах
 Раздался странный оклик.
 И видел я сквозь мелкий шрифт,
 Сквозь пыль античных ваз,
 Как улыбнулся мне в окно
 Мой отчужденный облик
 В густой взъерошенной листве
 С простым названьем — вяз.
 Светилась лунная кайма
 По теневому краю,
 В ветвях мигали облака,
 Как искры на весле,
 Как будто здесь совсем не я
 Живу и умираю
 Глаголом первого лица
 В единственном числе.

В глухом затерянном дворе,
 Вполне стандартным летом,
 Невероятно отрешась
 От жизненных хлопот,
 Один таинственный гибрид
 Растенья с интеллектом
 Вскрывал заржавленным ножом
 Черешневый компот.
 Ходили тени по стене
 В кухонном ритме вялом,
 Лежало солнце в тайнике,
 Как неразменный грош.
 И кто-то корчился всю ночь
 Под тонким одеялом,
 Шепча в невнятном полуслне:
 “Потери не вернешь!”

Жил на свете мальчик детский,
Лыко плотное вязал.
Уходил на Павелецкий,
На Савеловский вокзал.

Надевал носки и брюки,
Над вопросами потел.
Все пытался по науке,
Все по-умному хотел.

Тряс кровать соседской дочки,
Тратил медные гроши,
Все искал опорной точки
В тонком воздухе души.

Этот мальчик философский
В суете научных дней
Стал умен, как Склифосовский,
Даже, видимо, умней.

Но не смог он убедиться,
Мозгом бережным юля,
Как летать умеет птица
Без мотора и руля.

Так давайте дружным хором
Песню детскую споем,
Как летает птица ворон
В тонком воздухе своем.

В перегретом мозгу не хватило диода,
 Нерадивый механик проводку чинил.
 И читают потомки дневник идиота
 В самиздатовских списках, в потеках чернил.
 Не на том перекрестке построил берлогу,
 Не на те образа загляделся, творя, —
 И молись до конца алкогольному богу,
 Надломив эспадрон у его алтаря.

Не пора ли нам, братие, слово начати,
 На минуту стаканы ладонью накрыв:
 Отчего не везет ни в любви, ни в печати,
 И в душе созревает под кожей нарыв?
 Заблудился в расчетах упущеный минус,
 Словно женское тело, бумага бела.
 Я бы многое смог, если б в дверь не ломились,
 Если б слову отдушина в сердце была.

Сколько воска сгорело на эти раздумья,
 Сколько шрамов лежит на искрящем кремне.
 По своей ли земле проложил борозду я?
 Одиноко и холодно, холодно мне.
 Мы худы и рассудком от холода слабы,
 Наши мысли с делами от холода врозвь.
 Дай мне, Господи Боже, любви или славы,
 Исцели меня, корку голодному брось!

Но покуда в мозгу моем бесы пасутся,
 Но покуда законы в сознании спят,
 Никому, никому не предам безрассудства.
 Утопивший надежду — безумием свят.
 Будет время — распиской свяжусь долговою.
 Присмотрись: это свет вымирает в груди.
 Только тверже перо приложи к договору,
 Только крови глоток в каламарь нацеди.

Эти женщины в окне
Торопливые соблазны
Все движения в огне
Предварительно согласны
Пальцы липкие по шву
Губ лекарственная сода
Я не знаю чем живу
Это лето без исхода
Этот пагубный июль
С обольщением проворным
Словно скляночка пилуль
С легким действием сноторвным
Снова окна через двор
Звездной россыпью привычной
Скоротечный уговор
Царство похоти первичной
Небосвод в глазной воде
Заштампованные шалости
Никому никто нигде
Отказаться соглашаясь

448-22-82

|

Жжет мои руки чужая жаровня,
 Нет очага моему шалашу.
 Кто ж я такой, что, живому не ровня,
 Теплой добычи в гнездо не ношу?
 Войска мне стоила эта победа,
 Словно я ужин проспал до обеда,
 Ловкий орел окрутил Ганимеда —
 Прячься в тени, подневольный гордец!
 Топает по снегу девочка Даша,
 Женщина Крава под ношей ягдташа
 С легким трофеем вечерних сердец.

Зябко мне гостем у зимних жаровен,
 В пламени тела душа не видна.
 Что мне утехи, что я не виновен,
 В жизни, где совести стоит вина?
 Евнуху поздно идти в моралисты.
 Руки мои холодны и безлисты,
 В сетунской роще январь наголо.
 Женщина девочке пальчики греет,
 Мертвое дерево в воздухе реет,
 В синем снегу — неживое крыло.

Здесь я записан в древесную касту,
 Зимней березой живу, не дыша.
 В сетунской роще по тонкому насту
 Бережной девочкой ходит душа.
 Легкие годы звенят моментальней,
 Кружево снега несется над спальней,
 Катится поезд в глубоком логу.
 Светлая женщина в комнате дальней
 Сердце березы несет к очагу.

II

Под взглядом твоим голубиным
 Мне, кажется, только одно
 Умение быть нелюбимым
 Помимо таланта дано.
 Я буду чужим человеком,
 Взаимности призрак гоня.
 Я сяду писать вадемекум
 Для жизни твоей без меня.

Я стану пожизненной тенью,
 Забуду свое ремесло,
 И буду подобен растению,
 Которое в землю вросло.
 Живут же без боли каменья,
 Глотая простор голубой.
 Не надо мне выше уменья,
 Чем быть нелюбимым тобой.

Уйду в насекомое царство,
 Травой расселюсь на лугу.
 Мне дружба твоя не лекарство,
 А большего сметь не могу.
 И жутко мне будет порою,
 Что в мире, где ты молода,
 Я дерево с горькой корою,
 Не давшее миру плода.

С. Г.

Время за полночь медленным камнем,
За холодным стеклом — ни шиша.
Только мы до утра тараканим,
Насекомую службу верша.
В эту пору супружеской пашней
Рассыпают свои семена
Обитатели жизни всегдашней,
Не любившие нас дотемна.
Разве дома тебя не ругали
За привычку в такие часы
Разминаться по стенке кругами,
Деловито топорща усы?
В эту пору внутри организма
Незакатное пламя бело,
Но, как яркий пример атавизма,
Нелетавшее дремлет крыло.

Не кори, что в ближайшую среду
Тихомолкой в кухонном тряпье
Я с родительской площади съеду,
Изменив тараканьей тропе.
Но зайдя к тебе прежде за плитус,
Керосину глотнуть задарма,
Я от слез неожиданных слипнусь,
И проститься не хватит ума.
Для того ли мы дни раздарили,
Как реликтовый бор под пилу,
Чтобы нас, наконец, раздавили
На чужом пенсильванском полу?

Поставили гром на колеса
 В обоз до Великих озер.
 Я — мертвое поле покоса,
 Топчи меня, вражий дозор.
 В саду городских новоселей
 Сентябрьский горит адресок.
 Погони чертеж невеселый
 Кладут на гавайский песок.

Побег провалился, зато ты
 Глядел с кругосветных галер,
 Как медленный порох заботы
 В можайское небо горел.
 И вскоре присяжный святитель
 Заставит признать со стыдом,
 Что ты уцелел, как свидетель,
 А время твое — под судом.

Напрасно поругано братство
 И детство, где быть не бывал
 С тех пор, как в патетику Брамса
 Бикфордовы гвозди вбивал.
 Срастаются в Этну напевы —
 Сарматским лицом безволос,
 Солист иосафатской капеллы
 Гранитное соло вознес.

Я честный плательщик налогов,
 Висящий над этой дырой,
 Не то, что писатель Набоков —
 Он бабочек мучить герой.
 Сравняется наша зарплата
 И певчая сила точь в точь,
 Когда пустырями заката
 Нас бабочки выведут в ночь.

Трехцветную память, как варежку, свяжем,
У проруби лет соберемся втроем.
Я вспомнил, что дома, в Елабуге, скажем,
Испытанный мне уготован прием.

Товарищ мой верил в стихи, как в примету,
В подкову, как всадник на полном скаку,
И ясно, что я непременно приеду,
Коль скоро не выбросил эту строку.

Мне выдан в дорогу пятак полуустертый
В конце отпереть кольцевое метро
И шесть падежей, из которых четвертый
На крестном листе распинает перо.

Товарищ мой выпьет с друзьями в зарплату,
Бездомным подпаском проспится в кустах,
Откуда весь день по дороге к закату
Трехцветные флаги бегут на шестах.

Мы странно дружили, мы виделись редко,
Пройдя Зодиак под конвоем Стрельца
В ту пору, когда радиальная ветка
Меня навсегда уносила с кольца.

Как солнце в облаке тяжелом,
Лежала улица в окне,
Когда весна была ожогом,
А лето — гибелью вполне.
Начальных дней чередованье
Сжигало детство новизной,
И казнью чрез четвертованье
Грозила улица весной.

Когда из полityх бороздок
Взлетали мальвы тяжело,
За ними комнатный подросток
Следил в оконное жерло.
Сентябрь, как медное полено,
Сгорал до первого дождя,
Но детство бедное болело,
Под новым снегом проходя.

В заклеенной скорлупке грецкой
Тропинка ненависти детской
В горящих мальвах под окном
Катилась белым полотном.

Месяц медленного бега,
 Камня мертвая струя.
 Словно вещего Олега,
 Стережет меня змей.
 Жизни мельничная спешка,
 Звезд пожизненная слежка —
 Мир в нейлоновом дыму.
 Утешать меня не надо:
 От неграмотного гада
 Этой смерти не приму.

День ложится на вагонку,
 Под коптящую свечу.
 Я лежу ему вдогонку,
 Спину мертвую лечу.
 Что-то змеи ходят стадом —
 Глаз да глаз за этим гадом,
 Ночи медные без сна,
 Бреда медленный проселок,
 Жизни мельничный осколок —
 Койка мертвому тесна.

Я и так дышать не смею,
 Прячу воздух в узелок,
 И уже другому змею
 Сердце послано в залог.
 Как в работу отдавали,
 Беглый ветер подковали,
 В балке плакала трава,
 Потому что в ветре вера,
 Песни мельничная мера,
 Млечной жизни жернова.

Того, кто к шепоту привык
Для нужд кухонного простора,
Не приведи сорваться в крик
От боли голоса простого.

Что проку в сейфе без замка?
Морей торжественная пена,
Не провоцируй Демосфена
Убрать морену с языка!

Тому, кто низменную гордость
Вскормил словесною халвой,
Всего верней умерить голос
И нерв проверить слуховой.

Кругам на зеркале пруда
Причина в камешке немногом.
Так говорят святые с Богом,
А Он их слышит без труда.

Борис Чичибабин

СТИХИ

Я слишком долго начинался,
и вот стою, как манекен,
в мороке мерного сеанса,
неузнаваемый никем.

Не знаю, кто виновен в этом,
но с каждым годом все больней,
что я друзьям моим неведом,
враги не знают обо мне.

Звучаньем слов, значеньем знаков
землянин с люлечки пленен.
Рассвет рассудка одинаков
у всех народов и племен.

Но я с мальчишства наметил
прожить не в прибыльную прыть
и не слова бросать на ветер,
а дело людям говорить.

И кровь и крылья дал стихам я,
и сердцу стало холодней:
мои стихи, мое дыханье
не долетело до людей.

Уже листва уходит с веток
в последний гибельный полет,
а мною сложенных и спетых
никто не слышит, не поет.

Подошвы стерты о каменья,
и сам согбен, как аксакал.
Меня младые поколенья
опередили, обскакав.

Не счастье пророков и провидцев,
что ни кликуша — то и тип,
а мне к заветному пробиться б,
а мне до жданного дойти б.

Меня трясет, меня коробит,
что я бурbon и нелюдим
и весь мой пот, и весь мой опыт
пойдет не в пользу молодым.

Они проходят шагом беглым,
моих святынь не видно им
и не дано дышать тем пеклом,
что было воздухом моим.

Как будто я свалился с Марса.
Со мной ни брата, ни отца.
Я слишком долго начинался.
Мне страшно скорого конца.

Битва

В ночном, горячем, спутанном лесу,
где хмурый хмель, смола и паутина,
вбирая в ноздри беглую красу,
летят самцы на брачный поединок.

И вот, чертят смертельные круги,
хрипя и пенясь чувственною бурей,
рога в рога ударяются враги,
и дрогнет мир, обрызган кровью бурой.

И будет битва, яростью равна,
шатать стволы, гореть в огромных ранах,
и будет ждать покорная она,
дрожа душой за одного из равных...

В поэзии, как в свадебном лесу,
но только тех, кто цельностью означен,
земные страсти весело несут
в большую жизнь — к паденьям и удачам.

Ну, вот и я сквозь заросли искусств
несусь по строфам шумным и росистым
на милый зов, на роковой искус —
с великолепным недругом сразиться.

Трепещу перед чудом господним,
потому что в бездушной ночи
никого я не спас и не поднял,
по-пустому слова расточил.

Ты ж таинственней черного неба,
золотей мандельштамовых тайн.
Не меня б тебе знать и не мне бы
за тобою бродить по пятам.

На земле не пророк и не воин,
истомленный твоей красотой,
как я мучусь, что я недостоин,
как мне страшно моей прожитой.

Разве мне — твой соблазн и духовность,
колокольной телесности свет.
В том, что я этой радостью полнюсь,
ничего справедливого нет.

И, ничтожней последнего смерда,
я храню твоей нежности звон,
что, быть может, одна и бессмертна
на погoste отпетых времен.

Мне и сладко, мне и постыдно.
Ты как дождь — от лица до подошв.
Я тебя никогда не постигну,
но погибну, едва ты уйдешь.

Пусть вся жизнь моя в ранах и оспах,
будь что будет, лишь ты не оставь,
ты — мой свет, ты — мой розовый воздух,
смех воды, поднесенной к устам.

Ты в одеждах — и то, как нагая,
а когда все покровы сняты,
сердце падает, изнемогая
от звериной твоей красоты.

В январе на улицах вода —

темень с чадом.

Не увижу неба никогда

сердцем сжатым.

У меня из горла не слова —

боли комья.

В жизни так еще не тосковал

ни по ком я.

Ты стоишь, как Золушка в снегу,

ночки мочишь.

Улыбнись мне углушкиами губ,

если можешь.

В январе не разыскать следов —

сны холонут.

Отпусти меня, моя любовь,

камнем в омут.

Мне не надо больше смут и бед,

славы, лени.

Тихо душу выдохну тебе

на колени.

Упаду на них горячим лбом.

Ох как больно!

Вся земля — не как родильный дом,

а как бойня.

В первый раз приходит рождество
в черной роли.
Не осталось в мире ничего,
кроме боли.

И в тоске, и в смерти сохраню
отсвет тайны.
Мы с тобой увидимся в раю.
До свиданья.

Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Среди сосен и скал там нам было на все начихать.
Там, у синего моря, цветы на камнях розовели
и дремалось цветам под языческий цокот цикад.

Мы забыли беду, мы махнули рукой на заботы.
Мы сказали нужде: "Подожди-ка нас дома, нужда"....
Домассорились мы. Я тебе говорил: "Ну чего ты?"
И в глаза целовал, и добра ниоткуда не ждал.

Так уж вышло у нас. Ничего мы с тобой не сумели.
Я дымлю табаком. Надо мной воздушок сине-сиз...
Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Там мы рвали кизил и ходили пешком в Симеиз.

Бесшабашное солнце плыло в галактических высинах
над просоленной галькой — обломышем древних пород.
Я от кривды устал. Я от горного голода высох.
Не смеются глаза и улыбкой не красится рот.

Убежим от себя — хоть на край, хоть на день, хоть
на час мы.
Ну-ка, платье надень, ну-ка, ношу на камни свали.
И забудем о том, что запутаны мы и несчастны,
и в сверкающей влаге утопим тревоги свои.

Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Он висел в синеве и глаза нам сияньем колол.
Жарко-ржавые пчелы от сока живьем осовели.
Черкал ящерок яркий. Скакал по камням богомол.

Там нам было тепло. А бывало от бурь коченели.
Государственный холод глаза голубые гасил...
Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Там шершава трава и неслыханно кисел кизил.

Весенний дом

Я помню дом один весною в городе.
Его за то я в памяти храню,
что по его карнизам ходят голуби
и снег лежит у крыши на краю.

Еще мокрынь, еще деревья голы те,
но, вся отдавшись нежному вранью,
горит девченка в том весеннем холоде,
в мальчишеских ладонях, как в раю.

Взлетают в небо синие качели.
А дом стоит тяжелый от капели,
а льды звенят, а снег никак не стается.

Мне холода вовек не возомнятся.
Моим девченкам всем по восемнадцать.
Я никогда не доживу до старости.

Постель

Постель — костер, но жар ее священный.
Мне все равно — тахта или кровать.
Нагого тела душное свеченье
нужней всего, чтоб души укрывать.

Но лжи ночной на сердце не привадь.
Но прав ли я, виновен разве чем я,
что мне судилось даже в час вечерний
весну у сна для жизни отрывать?

Меня постель казенная шерстила.
А есть любовь черней, чем у Шекспира.
А есть бессонниц белых канитель.

На свете счастья ровно кот наплакал,
и очень часто люди, как на плаху,
кладут себя в постылую постель.

Вечером с получки

Придет черед — и я пойду с сумой,
придет черед — и я дойду до ручки, —
но дважды в месяц, летом и зимой,
мне было счастье — вечером с получки.

Я набирал по лавкам что получше,
я брился как пижон, и — бог ты мой! —
с каким я видом шествовал домой,
неся покупки, вечером с получки.

С весной в душе, с весельем на губах,
идешь-бредешь, а на пути — кабак.
Зайдешь — и все продуешь до полушки.

Давно темно. Выходишь, пьяный в дым.
И по пустому городу. Один.
Под фонарями. Вечером. С получки.

Махорка

Меняю хлеб на горькую затяжку.
 Родимый дом приснился и запах.
 И жить легко, и пропадать не тяжко
 с курящейся цигаркою в зубах.

Я знал давно, задумчивый и зоркий,
 что неспроста, простужен и сердит,
 и в корешках, и в листиках махорки
 мохнатый дьявол жмется и сидит.

А здесь, среди чахоточного быта,
 где холод лют, а номера мокры,
 все искушенья жизни позыбьтой
 для нас остались в пригоршне махры.

Горсть табаку, газетная полоска...
 Какое счастье проще и полней?..
 И вдруг во рту погаснет папироска,
 и заскучает воля обо мне.

Один из тех, что — “Ну, давай, закурим!”
 Сболтнет, печаль надеждой осквернив,
 что у ворот задумавшихся тюрем
 нам остаются рады и верны.

А мне и так не жалко и не горько.
 Я не хочу нечаянных порук.
 Дымись до тла, душа моя, махорка, —
 мой дорогой и ядовитый друг.

Верблюд

Из всех скотов мне по сердцу верблюд.
 Передохнет — и снова в путь, навьючясь.
 В его горбах — угрюмая живучесть.
 Века неволи в них ее волют.

Он тащит груз, а сам грустит по сини,
 он от любовной ярости вопит.
 Его терпенье пестуют пустыни.
 Я весь в него — от песен до копыт.

Не надо дурно думать о верблюде.
 Его черты презгливы, но добры.
 Ты погляди, ведь он древней домбы
 и знает то, чего не знают люди.

Шагает, шею потную вытягивая,
 приносит ношу, царственен и худ,
 песчаный лебедин, печальный работяга,
 хорошее чудовище — верблюд.

Его удел ужасен и высок,
 и я б хотел меж розовых барханов,
 из-под поклаж с презрением нежным глянув,
 с ним заодно пописать на песок.

Мне, как ему, мой бог не потакал.
 Я тот же корм перетираю мудро,
 и весь я есть моргающая морда,
 да жаркий горб, да ноги ходока.

Больная черепаха,
ползучая эпоха,
Смотри: — я горстка праха,
и разве это плохо?

Я жил на белом свете
и даже был поэтом, —
попавши к миру в сети,
раскаиваюсь в этом.

Давным-давно когда-то
под песни воровские
я в звании солдата
бродяжил по России.

Весь тутошний, как Пушкин,
или Василий Теркин,
я слушал клеп кукушкин
и верил птичьим толкам.

Я жрец лесных религий,
мне труд — одна морока,
но мне и Петр Великий
не выше скомороха.

Как мало был я добрым,
хоть с мамой, хоть с любимой,
за что и бит по ребрам
судьбиной, как дубиной,

В моей дневной одышке,
в моей ночи бессонной
мне вечно снятся вышки
над лагерною зоной.

Не верю в то, что русы
любили и дерзали:
одни врали и трусы
живут в моей державе.

В ней от рожденья каждый
железной ложью мечен,
а кто измучен жаждой,
тому напиться нечем.

Вот и моя жаровней
рассыпалась по рощам,
бездельно и черно в ней,
как в городе полнощном.

Юродивый, горбатенький,
стучусь по белу свету,
зову народ свой батенькой, —
а мне ответа нету.

От вашей лжи и люты
до смерти не избавлен,
не вспоминайте, люди,
что был я Чичибабин.

Уже не быть мне Борькой,
не целоваться с Лилькой.
Опохмеляюсь горькой,
закусываю килькой.

Сними с меня усталость, мать Смерть.
Я не прошу награды за работу,
но ниспошли остуду и дремоту
на мое тело длинное, как жердь.

Я так устал. Мне стало все равно.
Ко мне всего на три часа из суток
приходит сон, томителен и чуток,
и в сон желанье смерти вселено.

Мне книги зла читать невмоготу,
а книга блага вся перелисталась.
О мать Смерть, сними с меня усталость,
покрой рядном худую наготу.

На лоб и грудь дохни своим ледком,
дай отдохнуть светло и беспробудно.
Я так устал. Мне сроду было трудно,
что всем другим привычно и легко.

Я верил в дух, безумен и упрям,
я Бога звал — и видел ад воочью.
И рвется тело в судорогах ночью,
и кровь из носу хлещет по утрам.

Одним стихам вовек не потускнеть.
Да сколько их останется, однако?
Я так устал. Как раб или собака.
Сними с меня усталость, мать Смерть.

ИВАН ЕЛАГИН

ПЕРЕВОДЫ ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ

Стивен Винсент Бенэ

Марианна Мур

Вильям Карлос Вильямс

Уоллес Стивенс

Робинсон Джейфферс

Роберт Фрост

Стивен Винсент Бенз

Баллада о Вильяме Сикаморе

Отец у меня был жителем гор,
 С кулаками покрепче бревен,
 Как бегущий олень, проворен и скор,
 И как янки немногословен.

А мать была весела и смела,
 Даже когда рожала:
 Сосна у нее повитухой была,
 А речка ее ублажала.

Знаю, — других рядят в кружева
 И холят, как Божьих деток.
 А я спал на шкуре горного льва
 В колыбели из хвойных веток.

И пусть для кого-то — передников блеск,
 И звон серебра для кого-то:
 Я помню свечи можжевеловой треск
 И шапку из меха енота.

Как мать смеялась по пустякам,
 Как бревен плелись полукружья,
 Как дюжие парни входили к нам,
 Держась за длинные ружья.

Сквозь сон я слышу их хоровод,
 Над люлькою песню заводят,
 Стучат сапоги, и скрипка поет,
 И пляской отец верховодит.

По шаткому полу удар каблука,
 Визгливое скрипки соло...
 Сушеные травы летят с потолка,
 Пыль подымается с пола.

Есть дети, что счастливы, как напоказ,
 И счастье давалось мне в руки.
 Прошло мое детство под топот и пляс
 В чертовых чащах Кентукки.

Я вырос, как стебель маиса, высок.
 Немногое взял я из дома:
 Для пороха отдал отец мне рожок
 Да выучил шуму лесному.

Я знал, как лесные приметы прочесть,
 Я шел, как идут следопыты,
 С чутьем, что индейцу бы сделало честь,
 В рубахе из кожи пошитой.

Жену отыскал я, какой не найдешь,
 Салемского клипера краше,
 Стройную, как охотничий нож,
 С глазами, как звездные чаши.

Мы спали, где бродят бизоны во мху,
 Где реки запрятаны в чащах;
 Я сеял моих сыновей на шляху
 Фургонов, на Запад спешащих.

У крепких сынов моих нрав был прямой —
 Красивы, лихи, коренасты.
 Старший убит был при Аламо,
 А младший — там же, где Кастер.

О гибели весть прожигала углем,
 Но даже и это приемлю.
 Но жизнь мне постыла с тех пор, как кругом
 Пошли огораживать землю.

На дикого, рыжего сел я коня,
 В простор я помчался полдневный.
 Как молния, наземь он сбросил меня, —
 Копыто ударило гневно!

Охотник-чужак свистел вспыхах,
 С земли меня подымая.
 И умер я, как пионер, в сапогах,
 Под небом сиявшим без края.

И в самом сердце жирной земли
 Лежу я, как семя степное.
 Как медом и маслом, кости мои
 Чисто обмыты землею.

Вновь юность шумит моя ливнем весной,
 Летают, как гуси на воле
 Сыны мои. Птицы поют надо мной.
 Я смертью моей доволен.

Ступайте в свои города, где лассо
 Накинуть мне были бы рады.
 В земле моей сплю я усталой лисой.
 С моими бизонами рядом.

Марианна Мур

Поэзия

Она и мне не нравится: есть вещи
важнее всех пиликаний на свете.
Но все ж, ее читая, с абсолютным
презрением к ней, мы все-таки находим,
что в ней таится подлинное что-то.
Рука, что может ухватить, глаза,
что могут расширяться, дыбом
умеющие волосы вставать,
когда в том есть нужда, все это важно
не для того,
чтоб объяснить все это пышным слогом,
а потому, что это все полезно.
Когда настолько это производно,
что делается вовсе непонятным,
то мы одно о всех на свете можем
сказать, что мы не восхитимся тем,
что непонятно нам: летучей мышью,
вниз головой висящей, или с писком,
чем поживиться ищущей, слонами
толпящимися, диким жеребцом,
катающимся на поляне, волком
застрывшим напряженно под кустом,
неколебимым критиком, который
так морщит кожу, точно конь, что чует
блоху, статистом, болельщиком бейсбола,
но также нам не следует
пренебрегать и деловой бумагой,
учебником. Подобные явления
значительны весьма. Однако нужно

учиться различать: когда что-либо
выносят напоказ полупоэты, —
поэзии не будет в результате,
и до тех пор ее у нас не будет,
покамест те, кто среди нас поэты,
не станут "буквалистами фантазии",
над наглостью и пошлостью поднявшись,
не смогут предложить на рассмотренье
сады воображаемые нам,
в которых настоящие есть жабы.
Но если вам поэзии сырье
необходимо в самом грубом виде,
и вместе с тем необходима вам
доподлинно поэзия — то вам
действительно поэзия нужна.

Могила

Море разглядывает человек, и он загораживает вид,
тем, кто имеет столько же прав на море, сколько имеешь ты,
человеческая черта — на дороге у всех стоять,
но не дано никому из нас морю перегораживать путь.
Кроме вырытой хорошо могилы — море не даст ничего.
Ели идут и несут на верхах изумруд индюшачьих ног,
строги, как собственный силуэт, ели не говорят ничего.
Однако сдержанностью морям не приходится щеголять,
море — сборщик всего — и вмиг отвечает на хищный взгляд,
были другие, кроме тебя, кто тем же взглядом на море
смотрел,
кто больше не будет протестовать — рыбам не интересны они,
от них не осталось уже костей.
Люди, сети бросая, не сознают, что оскверняют могилу они,
прочь поспешно гребут потом, и лезвия весел идут по воде
в ритме лап водяных пауков, точно смерти вовсе и нет.
И под пеной фаланги волн набегают во всей красе,
чтоб задыхаясь упасть, а вода ходит в травах морских ходуном.
В воздухе птицы, как прежде плывут, испуская кошачий визг,
и черепахи бьются внизу, копошась у подножья скал.
Колокол бакена, пульс маяка — у океана обычный вид,
как будто это не тот океан, в который если что уронить,
то вещи уроненные должны неукоснительно утонуть,
и если их крутит и вертит, то вопреки их желанию и воле.

Молчание

Отец мой говорил: "Большие люди
всегда приходят в гости ненадолго",
и потому нет надобности им
показывать лонгфеллову могилу
иль Харварда стеклянные цветы.
Они уверены в себе, как кошка,
добычу уносящая свою
в укромный уголок; а хвост мышиный,
как обувный шнурок, висит из пасти.
Порою одиночество им любо.
Порою, речью восхитясь, они
лишиться могут сами дара речи.
Глубоким чувствам свойственно, молчанье.
Нет, не молчанье, сдержанность скорее.
Он не кривил душою, говоря —
"Ко мне домой входите, как в трактир!"
Трактиры не являются жильем.

Вильям Карлос Вильямс

Яхты

Устроили гонки на море, где суши кусок
их защищает от слишком тяжелых ударов
вольного моря, которое, если захочет,

лучшие суда, что против него человек
выслал, замучит и пустит ко дну без пощады.
Как мотыльки, в ослепительном блеске искрясь

ясных безоблачных дней, паруса распахнув,
яхты по ветру скользят, зеленую воду швыряя
с острых носов, и заботливы, как муравьи,

лазят команды по ним, то пуская по воле,
то повернув, ускоряя их ход; и вперед накренясь,
снова ветер поймав, яхты к цели несутся бок-о-бок.

На охраняемой крепко арене залива, в кольце
крупных и малых судов, лебезящих вослед,
так необычно, так молодо выглядят яхты,

словно как блеск осчастливленных глаз, что живут
только тем, что в душе бескорыстно, свободно, что всем
так присуще желать. А то море,

что их держит теперь, помрачнело и лижет бока их, как будто
силясь нашупать малейшую щель, но тщетны попытки.
Гонок сегодня не будет. Но вновь подымается ветер. И яхты

мчатся увертливо к старту. Сигнал прозвучал, и они
двинулись, волны теперь бьют в них, но, слишком прочны,
яхты по волнам скользят, чуть-чуть подобрав паруса.

Сколько ладоней и рук вцепиться в корму их хотят,
сколько тел на пути в сторону сброшено прочь,
в агонии, в страшном отчаяньи море их лиц окружает,

пока не проникнется ужасом гонок душа,
все море в сплетениях тел водяных, отрешенных от мира,
и то, что несут они, не удержать им. Разбиты,

бой проиграв, неутешны, вырваться силясь из смерти,
кричат они: гибнем, мы гибнем. И крик их стоит еще в волнах,
в то время как ловкие яхты легко проплывают.

Уоллес Стивенс

Воскресное утро

Уютность пеньюара, поздний кофе,
 У солнечного кресла апельсины,
 Зеленая свобода какаду,
 Все над ковром слилось, чтоб разогнать
 Священный трепет жертвоприношенья.
 Она чуть грезит, ощущая темень
 Прихода этой древней катастрофы.
 Как будто гладь воды в огнях темнеет.
 И пряность апельсинов, зелень крыльев,
 Ей кажутся процессией мертвых,
 Что движется извилистой дорогой
 Беззвучно по широкой водной глади.
 И день, как воды гладкие беззвучен,
 Он стих, чтоб сонной поступью она
 Шла по морям к безмолвной Палестине,
 Туда, где царство крови и гробницы.

II

К чему так щедро одарять ей мертвых?
 Что божество, когда оно являться
 Во сне лишь может молчаливой тенью?
 Не лучше ли найти в утехах солнца,
 В плодах душистых и в зеленых крыльях,
 Или в любой другой земной отраде,
 То, что лелеять, как мечту о рае?
 Божественность должна быть в ней самой.
 Печали одиночества и страсти
 Дождя, наплывы грусти в снегопаде,
 Или восторг несдержаный пред лесом
 Зацветшим, или на дорогах мокрых
 Осенними ночами бодрость духа —
 Вся боль, вся радость, все воспоминанья
 О летней ветке и о зимней ветке —
 Вот истинные меры для души.

III

За облаками был рожден Юпитер.
 Мать не вскормила, родина не встала
 Всей широтой в мифическом сознанье.
 Он шел средь нас. Вот так бы, бормоча,
 Шел пышный среди челяди король,
 Покамест наша девственная кровь,
 Смешавшись с небом, не дала бы ответа
 Желаньям нашим, чтобы даже челядь
 Ответ могла по звездам распознать.
 Погибнет наша кровь иль кровью рая
 Когда-то станет? Или нам земля
 Единственным навеки будет раем.
 Тогда к нам будет небо благосклонней,
 Частицей станет боли и труда,
 Сияющей, как верная любовь,
 Не будет разделяющего неба,
 Вот этой равнодушной синевы.

IV

Сказала ты: "Люблю, когда, проснувшись,
 Испытывают птицы достоверность
 Туманных луговин перед полетом,
 Так сладко воскликая! Но в то время,
 Когда уж нету птиц и не вернутся
 Их теплые луга — где рай тогда?
 И никакие призраки пророчеств,
 И никакой мираж гробницы древней,
 Ни подземелье в золоте, ни остров
 Гармонии, где обитают духи,
 Ни южный сон, ни облачная пальма,
 Поставленная на холме небесном, —
 Не долговечней зелени апреля.
 Ее воспоминание о птицах
 Разбуженных гораздо долговечней,
 Или тоска о вечере июньском,
 Что прочеркнула ласточка крылом.

V

Сказала ты: "Я все же ощущаю
 Необходимость вечного блаженства".
 Смерть — мать красоты. И потому
 Она одна мечты насытит наши,
 Желанья наши, но устелет путь
 Листвою верного уничтоженья.
 Тот путь, которым шла большая скорбь,
 И те пути, которыми победа
 Звенела бронзой возгласа, пути,
 Которыми любовь шепталась нежно.
 И смерть велит дрожать под солнцем иве
 Для девушек, сидящих и глядящих
 Под ноги, где расстелена трава.
 И мальчикам велит нагромождать
 На блюда сливы свежие и груши.
 Их девушки попробуют и бродят,
 Томясь страстями среди сора листвьев.

VI

Иль нет в раю преображенной смерти?
 И спелый плод не падает? И ветви
 Всегда с плодами в совершенном небе?
 Оно с землею гибельною схоже,
 Там реки, точно наши, ищут море,
 И не находят, берега теряя,
 Но никогда тоски не будят смутной.
 Зачем сажать на их прибрежьях груши
 Иль насыщать их запахами сливы?
 Как жаль, что там цвета в почете наши,
 Вязь шелковая наших вечеров,
 Звенят там струны наших скучных лютней,
 Смерть — мать красоты — одета тайной,
 Нам видится в ее груди горящей
 Земная мать в бессонном ожиданье.

VII

Взволнованный и гибкий сонм людей
Хвастливо летним утром будет петь
Гимн поклоненья солнцу — не как богу,
А как тому, чье божество средь них
Могло бы быть — нагим и первобытным
Источником — и гимн их будет райским,
Как голос крови, возвращенный в небо.
И будут в песнь врывааться голоса
И озера, что возлюбил владыка,
И рощ, как серафимов, и холмов,
И долго будут голоса звучать.
Поймут они божественную связь
Меж смертными людьми и летним утром.
Откуда и куда они идут —
Роса на их ногах укажет ясно.

VIII

И слышно ей, как по безмолвным водам
Несется глас: "Гробница в Палестине —
То не преддверье сил потусторонних,
А та могила, где лежал Иисус"..
В хаосе солнца древнем мы живем,
В зависимости древней дня и ночи,
Иль отрешенно, как на островах,
В свободном одиночестве вот этой
Широкой неизбежной водной глади.
По нашим взгорьям бегают олени,
Перепела свистят непроизвольно,
И сладко спеют ягоды в глухи,
И в отчужденности небес вечерних —
Случайные там стаи голубей —
Двусмысленно роятся, опускаясь
Вниз и во тьму на вытянутых крыльях.

Две фигуры в густом фиолетовом свете

Пускай меня лучше обнимет носильщик в отеле,
Чем в лунном свете я почувствую лишь
Влажную руку твою.

Будь голосом ночи, будь шумом Флориды для слуха,
К образам смутным и смутным словам прибегай,
Темни свою речь.

И так говори, будто я твоей речи не слышу,
Но мысленно полностью все за тебя говорю,
Слова зачиная.

Так ночь в тишине разрешается звуками моря,
И ночь из гуденья шипящих согласных
Творит серенаду.

По-детски скажи, что сидят на столбах сарычи,
Во сне одним глазом следя за падением звезд
Вдали за Ки-Вестом.

Скажи, что в густой синеве пальмы все на свету,
На свету и в тени; что ночь наступила уже;
Что светит луна.

Робинсон Джейферс

Скунсы

Вся продажность войны и мира. Оптовые преступления
властей, составляющие войну. Мирного времени алчность
и ложь.

И победителей мстительность: на расстояньи
Как это выглядит все романтически мягко: синие горы и степи,
цветущие в длинном пейзаже истории —
где Калигула
клоуном станет забавным, а Чингиз-хан —
творцом гениальных трагедий.

Ну, а теперешних дней возглавители бойни — Сталин вчера
только умер —

Вот вы увидите, как быстро слиняют кровавые пятна, и ужас
громоздкий

Книжными станут словами.

Есть у нас тут небольшие зверьки —
неторопливо ходящие родичи ласки и горностая, —
Полосатые скунсы, что могут из-под хвоста выпускать
Такой зловонно-удушливый запах, что рыси и волки
Не смеют к ним подойти. И скунсы гуляют, где захотят.
Оружье у них — только этот вот газ ядовито-отвратный.
Но — быть может заметили вы — доносящийся издалека —
неожиданно
запах становится этот прятен.

Как дух папоротника и
влажной земли
Где-то под вечер в самой глухи, на опушке лесной,
Где прохладные воды тихонько скользят по замшелым
камням
и порою по омуту зыбь пробегает от быстрой форели.
Расстояние все очищает.

Кровать у окна

Выбрал я славное смертное ложе — кровать у окна
с видом на море, на первом
Этаже, когда строили дом. Она приготовлена, ждет.
На этой кровати не спят — разве что раз в году — какой-нибудь
гость, не посвященный
В ее назначенье. Я часто смотрю на нее.
Она не отталкивает и не тянет к себе. Скорей эти
два равносильные чувства
Взаимно уничтожают друг друга и остается кристально-чистым
одно любопытство.
Нам не может ничто помешать кончить то, что нам
следует кончить.
И, пожалуй, покажется музыкой мне,
Когда из-за полого неба и груды прибрежных камней,
терпеливый
Демон посохом стукнет и трижды покличет:
"Иди сюда, Джейферс!"

Олени слагают свои кости

По узкой тропе вдоль обрыва я шел до средины горы
 Над глубоким каньоном речным. Небольшой водопад
 Преграждал мне дорогу. Кидалась вода
 Через корни деревьев и камни, сверкающий папоротник
 сотрясая.

Бурлящий и яркий, чистый горный поток — но
 откуда-то запах дурной.
 Удивясь ему, вниз я полез по отвесному спуску ручья, —
 Футов сорок примерно, — и там в дубняке, среди лавра, над
 пропастью я обнаружил

Небольшую полянку укромную, с дерном и мелким прудом,
 Что повисла, как птичье гнездо. А кругом были кости в траве.
 Там лежали и чистые кости, и смрадные кости, Их много,
 Разветвленья рогов меж костями. Я понял — поляна
 Убежищем раненым служит оленям. Их много
 Подстреленных, доковыляло сюда, от охотников прячась.
 Тут в достатке воды, чтобы жажду ужасную им утолить
 И умереть в тишине: зеленые заросли лавра и мрачный обрыв
 Охраняют их тайну. А снизу, из глуби ущелья, доносится
 ветер душистый.

Хотелось бы мне, чтобы кости мои с их костями лежали.
 Есть в этом признании глупость и трусость немножко...
 Мы знаем, что поровну жизнь состоит из хорошего и из
 дурного,

А большею частью бывает нейтральной и серой,
 Но все ж ее вытерпеть можно до смутной кончины.
 Каким колдовством бы травы и воды, и ущелья, и боли от ран,
 Смерть ни старалась казаться нам сладкой, — досталась
 нам жизнь,
 Мы вкусили ее — и хоть, может быть, дар невелик — но,
 честности ради,
 Надо вкусить до конца. Опустела
 С той поры моя жизнь, как любовь мою смерть унесла.

Опустела? А внучка моя с волосами, как пламя, с большими
Голубыми глазами, похожими так на твои? Что я

сделать могу

Для ребенка? Я смотрю на нее и гадаю, какой же мужчина
На закате земли... Я старею, вот в чем беда.

Мои дети и малые внуки найдут себе сами дорогу,
Так зачем же еще десять лет дожидаться? мною прожито
Шестьдесят семь; десять лет или вроде того

Пронесется — и выползу я на скалистый обрыв, и умру,
огрызаясь,

Как волк, потерявший волчицу. Решеньем себя я связал
Давности тридцатилетней: если пьешь ты вино,
Ты должен выпить осадок. Даже в горьких осадках
Может таиться открытие. Слагают олени кости свои на

прекрасной поляне.

Я должен нести свои дальше.

Роберт Фрост

Огонь и лед

Кто мнит, что сгинет мир в огне,
А кто пророчит лед.
По страсти, что знакома мне
Я предпочту конец в огне.

Но если дважды гибель ждет,
То я и ненависть знавал,
И верю — справится и лед,
И льда навал
Свое возьмет.

Джордж Орвелл

УБИВАЯ СЛОНА

В Мулмейне — Нижняя Бирма — меня ненавидело огромное количество народу — единственный случай в моей жизни, когда я оказался лицом настолько значительным, чтоб подобная вещь приключилась. Я был помощником инспектора полиции в этом городе, и антиевропейские настроения, хотя и носившие несколько беспредметный и мелочной характер, были довольно сильны. На открытый мятеж никто не решался, но если белая женщина проходила по базару, кто-нибудь обязано плевал ей жеваным бетелем на платье. Как полицейский я был вполне естественной мишенью, и меня изводили всякий раз, когда это было сравнительно безопасно. Когда во время футбольного матча шустрый бирманец дал мне подножку, а судья — тоже бирманец — взорвался в другую сторону, толпа разразилась потрясающим гоготом. Подобное случалось не раз и не два. Под конец желтые кривляющиеся физиономии подростков, на которые я натыкался повсюду, оскорбления и улюлюканье мне вслед, когда я оказывался на безопасном расстоянии, стали заметно сказываться на моих нервах. Хуже всего были молодые буддийские монахи. Их было несколько тысяч в городе, и ни у одного из них, казалось, не было другого дела, кроме как торчать на перекрестках и скалиться на европейцев.

Все это озадачивало и угнетало. Ибо к тому времени я уже понял, что имперализм — дурная вещь и что чем скорее я брошу свою работу и уберусь отсюда, тем лучше. Теоретически — и, конечно же, втайне — я был полностью за бирманцев и против их угнетателей, англичан. Что до работы, которой я занимался, я ненавидел ее, пожалуй, сильнее, чем я в состоянии объяснить. На такой службе видишь грязную изнанку Империи вплотную. Несчастные арестанты, сгрудившиеся в вонючих клетках камер, серые подавленные лица долгосрочников,

покрытые шрамами ягодицы после порки бамбуком — все это давило на меня нестерпимым ощущением вины. Но я не мог разобраться в этом как следует. Я был молод, посредственно образован, и обдумывать мои проблемы мне приходилось в абсолютном одиночестве, к которому каждый англичанин приговорен на Востоке. Я еще не догадывался, что Британская Империя умирает; еще меньше я догадывался, что она все же куда лучше более молодых империй, готовящихся занять ее место. Единственно, что мне было ясно, это что я завяз между ненавистью к империи, у которой я состоял на службе, и бешенством против злорадных маленьких чудовищ, старавшихся сделать мою работу невозможной. Одна часть моего сознания утверждала, что Британский Радж — непоколебимая тирания, нечто навеки вечные придавившее волю изможденного населения; другая — полагала наивысшим удовольствием на свете вогнать штык в брюхо буддийского монаха. Ощущения, подобные этим, являются неизбежным побочным продуктом империализма; спросите любого англо-индийского служащего, если вам удастся застать его в нерабочее время.

Однажды произошло нечто, оказавшееся — пусть и косвенным образом — весьма поучительным. Инцидент сам по себе был незначительный, но он дал мне четкое представление о действительной природе империализма — о подлинных мотивах деятельности деспотических правительств. Рано утром зам. начальника отделения полиции на другом конце города позвонил мне по телефону и сообщил, что слон громит базар. Не буду ли я столь любезен отправиться туда и предпринять что-либо. Я понятия не имел, что я могу предпринять, но мне захотелось посмотреть, что происходит, и я сел на своего пони и отправился. Я прихватил свое ружье — старенький Винчестер 44, слишком маленький, чтобы застрелить слона, но я полагал, что шум выстрела мог бы послужить "во устрашение". По дороге местные жители несколько раз меня останавливали, чтобы рассказать про слона. Это был, естественно, не дикий слон, но прирученный, у которого наступил период "охоты". Как всегда накануне такого периода у рабочих слонов, он был посажен

на цепь, но прошлой ночью он порвал цепь и сбежал. Его погонщик — единственный, кто знал, как с ним обращаться в подобном состоянии, — пустился на розыски, но двинулся в противоположном направлении и находился уже на расстоянии двенадцатичасового перехода отсюда, когда утром слон совершил неожиданно снова появился в городе. Местное население, не имеющее никакого оружия, было довольно беспомощно. Слон уже разрушил чью-то бамбуковую хижину, убил корову и разгромил несколько фруктовых лавок, пожирая по ходу дела товар; он также наткнулся на местный мусороуборочный фургон и когда возница выпрыгнул и, сверкая пятками, пустился прочь, опрокинул этот фургон и нанес ему тяжелые повреждения.

Зам. начальника отделения — бирманец и несколько индусов-констэблей поджидали меня в районе, где слон был замечен. Это был очень бедный район — лабиринт убогих хижин, крытых пальмовыми листьями, извивающийся по крутым склону холма. Я помню, что это было душное облачное утро, перед началом дождей. Мы принялись расспрашивать окружающих, в какую сторону слон двинулся, и, как всегда, не добились ничего путного. Это обычная история на Востоке: событие представляется ясным на расстоянии, но чем ближе вы оказываетесь к месту происшествия, тем расплывчатей оно становится. Одни утверждали, что слон двинулся в одну сторону, другие — что в другую, третьи не слышали ни о каком слоне вообще. Я уже, было, решил, что вся эта история со слоном была сплошным враньем, когда мы услышали вопли, раздавшиеся неподалеку. Громкий, скандализированный голос выкрикивал "Дети! Дети! Уходите! Прочь отсюда сию же минуту", и сильно взбудораженная старуха с прутом в руках появилась из-за угла, погоняя толпу голых детишек. Проследовало еще несколько женщин, щелкавших языками и что-то громко восклицавших; было очевидно, что случилось нечто, чего детям не следует видеть. Я обогнула хижину и увидел тело мертвого мужчины, распростертого в грязи. Это был индус, темнокожий дравид-кули, и он был мертв всего лишь несколько

минут. Люди заговорили, что слон наткнулся на него случайно за углом хижины, схватил его своим хоботом и, наступив ему на спину ногой, впечатал его в землю. Это был дождливый сезон, и почва была мягкой, и его лицо пропахало в грязи борозду в фут глубиной и два ярда в длину. Он лежал вниз животом, раскинув руки и с головой, резко свернутой на одну сторону. Его лицо было покрыто грязью, глаза широко раскрыты, зубы обнажены и оскалены, выражая нестерпимую агонию. (Кстати, никогда не рассказывайте мне о том, что мертвцы выглядят умиrotворенными. Большинство трупов, которые я видел, выглядели чудовищно.) Нога гигантского животного, проелозивши по его спине, сняла с нее кожу с той аккуратностью, с какой мы освежевываем зайца. Как только я увидел мертвого человека, я тотчас послал своего подручного в дом одного моего приятеля, жившего неподалеку, за ружьем. Я также отоспал назад моего пони, который мог бы взбеситься от страха и сбросить меня, почуяв слона.

Подручный вернулся через несколько минут с ружьем и пятью патронами, и одновременно прибыли несколько бирманцев, сообщивших, что слон забрел на рисовое поле, в нескольких стах ярдах отсюда, у подножия холма. Как только я двинулся вперед, практически все население квартала высыпало из своих домов и повалило за мной. Они все видели ружье и возбужденно выкрикивали, что я собираюсь застрелить слона. Пока слон крушил их дома, они им не очень-то интересовались, но теперь все было по-другому, поскольку слон будет застрелен. Отчасти это было развлечением для них — как это было бы и с английской толпой; кроме того, их интересовало мясо. От этого мне стало немного не по себе. У меня не было намерения убивать слона — я просто послал за ружьем, чтобы быть в состоянии защитить себя, если потребуется — и это всегда нервирует, когда за вами следует толпа. Я шагал вниз по склону холма, выгляดя и чувствуя себя совершенным идиотом, с ружьем через плечо и с постоянно возрастающей армией местных, наступающих мне на

пятки. У подножья, когда хижины остались позади, была покрытая щебнем дорога, а за нею — болотистая пустыня рисовых полей, в тысячу ярдов шириной, еще не вспаханная, но разбухшая от дождей и испещренная заросшими жесткой травой кочками. Слон стоял в восьмидесяти метрах от дороги, левым боком к нам. Он вырывал пучки травы, обивал их о колено, отряхивая от налипшей земли, и запихивал их себе в рот.

Я остановился на дороге. Как только я увидел слона, мне стало совершенно ясно, что я не должен его убивать. Это серьезное дело — убить рабочего слона; все равно, что разрушить большой и дорогостоящий механизм, и человеку, естественно, делать этого не следует, если этого можно избежать. К тому же, на таком расстоянии, мирно жующий, слон выглядел не менее опасным, чем корова. Я полагал тогда, как полагаю и сейчас, что приступ "горячки" у него уже проходил, и что в таком случае он побродит еще немного вокруг, пока не вернется погонщик и не уведет его. Более того, я не имел ни малейшего желания в него стрелять. Я решил, что понаблюдаю его некоторое время, дабы убедиться, что он не собирается приниматься за старое, и потом отправлюсь домой.

Но в этот момент я оглянулся и увидел толпу, следовавшую за мной. Это была огромная толпа — тысячи две, по меньшей мере, и она возрастала с каждой минутой. Она уже перекрыла значительную часть дороги по обе стороны от меня. Я взглядался в море желтых лиц поверх пестрых одежд — лиц совершенно счастливых и возбужденных предстоящим развлечением, абсолютно уверенных, что слон будет убит. Они наблюдали за мной, как наблюдают за фокусником, собирающимся исполнить свой номер. Они меня недолюбливали, но с волшебным ружьем в руках я на мгновение заслуживал внимания. И внезапно я понял, что, несмотря ни на что, я должен застрелить слона. Они ожидали от меня этого, и я должен был суметь это выполнить; я, казалось, осознал волю двух тысяч, неуклонно подталкивающую меня

вперед. И именно в эту минуту, когда я стоял с ружьем в руках, я впервые понял всю пустоту и бесплодность присутствия белого человека на Востоке. На дороге стоял я, белый человек, с ружьем в руках, перед безоружной туземной толпой — на первый взгляд, главный герой этой драмы, на самом же деле — всего лишь абсурдная марионетка, дергаемая то в ту, то в эту сторону волею этих желтых лиц у меня за спиной. Я ощущал в ту минуту, что когда белый человек превращается в тирана, он уничтожает тем самым собственную свободу. Он превращается в некую полую, позирующую куклу, в популяризованную фигуру сагиба. Ибо условием его власти, является необходимость произвести впечатление на "туземцев", и поэтому в любой кризисной ситуации ему приходится делать то, чего "туземцы" от него ожидают. Он надевает маску, и лицо его разрастается, дабы маску оную заполнить. Я должен был застрелить слона. Я обрек себя на это в ту минуту, когда я послал за ружьем. Сагиб должен вести себя, как сагиб — ему следует демонстрировать решимость, быть уверенным в себе, действовать без колебаний. Проделать весь этот путь, с ружьем в руках, с двумя тысячами, следующими по пятам, и нерешительно попятиться в конце, не совершив ничего — нет, это было невозможно. Толпа будет смеяться. А вся моя жизнь, жизнь всякого белого на Востоке была непрерывной борьбой за то, чтобы не быть осмеянным.

Но я не хотел стрелять в слона. Я наблюдал за ним, околачивающим пучки травы о колено с тем озабоченным старушечьим видом, который так присущ слонам. Выстрелить в него представлялось мне убийством. В моем возрасте я уже не нервничал, убивая животных, но я никогда не стрелял в слона и никогда этого не жаждал. (Это всегда почему-то кажется дурным — убивать *большое животное*.) Кроме того, следовало иметь в виду его владельца. Живой — слон стоил, по меньшей мере, сотню фунтов; за мертвого могли бы дать в лучшем случае стоимость его бивней — фунтов пять. Но я должен был действовать быстро. Я обратился

к нескольким опытным на вид бирманцам, которые находились тут еще до нашего появления, и спросил их, как слон себя вел. Все они повторили то же самое: он не обращает на вас внимания, если вы оставляете его в покое, но может напасть, если подойти к нему слишком близко.

Мне стало совершенно ясно, как надо поступить. Я должен приблизиться к нему в пределах, скажем, двадцати-пяти ярдов и проверить его реакцию. Если он нападет, я смогу выстрелить; если же не обратит внимания, то можно спокойно оставить его до возвращения погонщика. Но я также понял, что ничего подобного не произойдет. Я плохо стрелял из ружья, а грунт был просто жидкой грязью, в которой утопаешь с каждым шагом. Если б слон напал на меня и я бы промахнулся, у меня б осталось примерно столько же шансов, сколько у черепахи перед паровым катком. Но даже тут я думал не столько о собственной шкуре, сколько о зорко следящих лицах у меня за спиной. Ибо в ту минуту, с этой толпой, наблюдающей за мной, я боялся не в том смысле, как еслибы я был один на один. Белый не имеет права пугаться в присутствии "туземцев", и поэтому он, в принципе, не пугается. Единственной моей мыслью было то, что если что-нибудь выйдет не так, эти две тысячи бирманцев увидят меня удирающим, пойманным, растоптанным и превращенным в оскаленный труп, как тот индус на холме. И, — если б это случилось, — весьма вероятно, что многие из них стали бы смеяться. Этого произойти не должно. Был только один выход. Я сунул обойму в магазин и лег, чтоб лучше прицелиться.

Толпа стала затихать, и глубокий, счастливый вздох, как у публики в театре перед поднятием занавеса, прошелестел надо мной из бесчисленных ртов. Они получат свое зрелище, в конце концов. Ружье было чудной немецкой вещицей, с перекрецивающимися волосками прицела. Я не знал тогда, что, стреляя в слона, следует стараться поразить воображаемую прямую от одной ушной раковины до другой. Я должен был таким образом, поскольку слон стоял боком, целиться ему прямо в ухо; на деле же я взял немного вбок, полагая, что

мозг должен быть расположен чуть ближе к переносице.

Когда я нажал курок, я не услышал грохота и не почувствовал отдачи — этого обычно не замечаешь, попадая в цель — но услышал сатанинский рев восторга, исторгнутый толпой. В это мгновение, в этот ничтожный отрезок времени, слишком малый, казалось, даже для пули, чтобы достичь цели, ужасная и загадочная перемена стряслась со слоном. Он не вскинулся, не упал, но все очертания его тела изменились. Он внезапно показался потрясенным, обмякшим, безмерно старым, как если бы ужасный удар пули парализовал его в вертикальном положении. Наконец, после показавшейся слишком долгой паузы — около пяти секунд — он грузно осел на колени. Изо рта по текла слюна. Безмерная дряхлость, казалось, обрушилась на него. Можно было подумать, что ему тысяча лет. Я выстрелил снова, в то же самое место. При втором выстреле он не рухнул, но с отчаянной медлительностью поднялся на ноги и стоял, пошатываясь, но прямо. Я выстрелил в третий раз. Можно было видеть, как мучительная боль, причиненная пулей, сотрясла все его тело и вышибла остатки сил из его ног. Но в падении он,казалось, на мгновение поднялся, ибо, осев на задние ноги, он как бы взгромоздился вверх, словно нависающая скала, и его хобот устремился в небо, как дерево. Он протрубил — в первый и единственный раз. И потом обрушился вниз, брюхом ко мне, с грохотом, который, казалось, сотряс землю даже там, где лежал я.

Я поднялся. Бирманцы уже мчались мимо меня по грязи. Было ясно, что слон больше не встанет, хотя он еще не был мертв. Он дышал очень размеренно, с длинными шумными вдохами, огромный холмообразный бок мучительно вздыхался и опускался. Рот его был широко раскрыт — я мог заглянуть далеко вглубь нежно-розовой пещеры его гортани. Я долго ждал, что он умрет, но его дыхание не ослабевало. Наконец я разрядил два оставшихся патрона в то место, где, по моим предположениям, должно было находиться сердце. Густая кровь хлынула из него, точно красный бархат, но все-таки он не умер. Его тело даже не вздрогнуло, когда в него вошли

две пули, мучительное дыхание продолжалось, не прерываясь. Он умирал, очень медленно и в жестоких мучениях, но в некотором мире, столь далеком от меня, что даже моя пуля не могла причинить ему больше никакого вреда. Я чувствовал, что должен положить конец этим кошмарным звукам. Это было чудовищно — видеть огромное лежащее животное, неспособное двигаться и неспособное умереть, и быть даже не в состоянии прикончить его. Я послал за своей мелкокалиберной винтовкой и принялся палить, один за другим, в сердце и в глотку. Это, казалось, не производило никакого впечатления. Мучительные вздохи продолжались с размеренностью тикающего циферблата.

Под конец я не мог больше этого выдержать и ушел. Потом я слышал, что прошло еще полчаса, прежде чем он умер. Бирманцы стали прибывать с ножами и ведрами еще до того, как я ушел, и мне рассказывали, что к полудню они оставили разве что одни кости.

Впоследствии, естественно, имели место бесконечные дискуссии по поводу убийства слона. Владелец был взбешен, но он был всего лишь индус и ничего не мог поделать. Кроме того, юридически я поступил правильно, ибо взбесившийся слон должен быть убит, как и взбесившаяся собака, если его хозяин не в состоянии осуществить над ним контроль. Среди европейцев мнения разделились. Более пожилые считали, что я был прав; которые помоложе утверждали, что это полный поозор застрелить слона за то, что он убил кули, потому что слон стоит гораздо больше, чем любой паршивый кули. И в итоге я был даже рад, что кули был убит: это дало мне легальное право и вполне убедительный повод застрелить слона. Я часто размышлял, сообразил ли кто-нибудь из них, что я сделал это только из стремления избежать оказаться посмешищем.

Кэтрин Энн Портэр

ЦВЕТ ИУДИНА ДЕРЕВА

Бражиони грузно уселся на краешек стула с прямой спинкой, который для него тесноват, и поет Лауре бархатистым, печальным голосом. Лаура начала придумывать предлоги, чтобы не возвращаться домой до самого последнего момента, ибо Бражиони сидит там чуть не каждый вечер. Она может вернуться совсем поздно, но он все равно будет сидеть там, глядеть грустно и выжидательно, дергать пружинки своих светлых волос, перебирать струны своей гитары и вполголоса ворчать какой-нибудь мотив. Горничная-индеанка Лупе встречает Лауру в дверях и сообщает, чуть поведя взглядом в сторону верхней комнаты: "Он ждет".

Лауре хочется прилечь, она устала от заколок и тесноты своих длинных рукавов, но она спрашивает его: "У вас сегодня есть для меня новая песня?" Если он отвечает: да, — она просит его спеть эту песню. Если он говорит: нет, — она вспоминает его любимую песню и просит спеть ее снова. Лупе приносит ей чашечку шоколада и тарелку риса, и Лаура ест за маленьким столиком под лампой. Сперва она предлагает Бражиони поесть, но он всегда отвечает одинаково: "Я сыт, и потом — от шоколада грубеет голос".

Лаура просит: "Тогда спойте", — и Бражиони принимается петь. Он ласково поскребывает струны гитары, как будто чешет кошку или собаку, и поет надрывно и фальшиво, на высоких нотах переходя на длинный пронзительный визг. Лаура, которая все время ходит по базарам слушать уличных певцов и каждый день останавливается на улице 16-го Сентября послушать, как слепой мальчик играет на тростниковой дудочке, внимает Бражиони с безжалостной учтивостью, ибо не смеет потешаться над его скверной игрой. Ни у кого не хватит духа посмеяться над Бражиони. Он жесток со всеми, жесток и как-то по-особому презрителен, однако к своим талантам

относится с таким тщеславием и так болезненно реагирует на насмешку, что потребуются еще большие, чем у него, жестокость и тщеславие, чтобы коснуться широкой незаживающей раны его самомнения. На это надобна и недюжинная смелость, потому что оскорблять Бражиони опасно, и таких смельчаков нет.

Бражиони обожает себя с такой нежностью, самозабвением и бесконечным благодушием, что последователи его — ибо он вождь, опытный революционер, и кожа его не однажды была продырявлена в благородных битвах — греются в лучах его славы и говорят друг другу: “Поистине благородная душа; его любовь к человечеству выше простых личных привязанностей”. Избыток этой любви к себе вылился на Лауру, причинив ей немало неудобств; как и многие другие, она обязана своим безбедным существованием и жалованьем ему. Пребывая в добром настроении, он сообщает ей: “У меня искушение простить вам, что вы *гринга. Грингита!*” — и краснеющая Лаура воображает, как она внезапно подается вперед и резким ударом тыльной стороны ладони стирает с его лица сальную улыбку. Если он и замечает ее глаза в такие минуты, то не подает вида.

Она знает, что ей предложит Бражиони, и надо стойко сопротивляться, не подавая при этом вида, что она сопротивляется, и если бы она могла этого не делать, она самой себе бы не призналась, в чем скрытый смысл его намерений. В долгие эти вечера, испортившие долгий месяц, она сидит в своем глубоком кресле, держа на коленях раскрытую книгу, уставившись в успокоительную неподвижность печатной страницы, когда вид поющего Бражиони и издаваемые им звуки грозят отождествиться со всеми памятными ей бедами и реализовать дурные ее предчувствия. Неохватная туша Бражиони сделалась символом ее многочисленных разочарований, ибо революционер должен быть поджар, одержим героической верой и представлять собой вместилище отвлеченных добродетелей. Теперь она знает, что все это чепуха, и ей стыдно. У революции должны быть руководители, а руководство —

это поприще для энергичных людей. Товарищи говорят ей, что у нее масса романтических заблуждений, поскольку то, что она называет цинизмом, для них есть лишь "реалистический подход к действительности". Ее очень тянет сказать: "Я неправа, наверное, я и в самом деле не понимаю основ", — а потом она заключает сама с собой тайное перемирие и твердо решает не уступать такой рациональной логике. Но она не может не чувствовать, что разлад между тем, как она живет, и ее представлениями о жизни есть непоправимое предательство, и подчас она готова утешиться тем, что, по крайней мере, отдает себе отчет в своих бедах. Иногда ей хочется убежать от всего этого, но она недвигается с места. Сейчас ей больше всего хотелось бы выпорхнуть из этой комнаты, слететь по узкой лестнице на улицу, где дома притулились друг к другу, как заговорщики под пестрым абажуром, и пусть Бражиони поет сам себе.

Вместо этого она глядит на Бражиони искренне и прямо, как хорошо воспитанный ребенок. Колени ее тесно сдвинуты под плотной синей саржей, а круглый белый воротничок, хотя она и не хотела этого, похож на воротник монахини. Она одета в униформу идеи, она отвергла суетное. Она урожденная католичка, и хотя боится, что кто-нибудь увидит ее и устроит по этому поводу скандал, все равно прокрадывается время от времени в какую-нибудь ветхую церквушку, становится на колени на прохладных плитах и шепчет "Аве Марию", перебирая купленные в Теуантепеке золотые четки. Все это без толку, и под конец она разглядывает алтарь, увешанный искусственными цветами и обтрепанной парчой, и чувствует умиление при виде похожей на куклу помятой фигурки какого-нибудь святого, чьи белые отороченные кружевами подштанники, болтающиеся вокруг лодыжек, выглядывают из-под бархатной мантии, источающей святость и достоинство. Воспитание привило ей набор строгих принципов, наложивших печать на всякий ее жест и вкусы, поэтому она никогда не станет носить кружев машинной выделки. Это ее тайная ересь, поскольку в их тесном кружке машина, которой предстоит

освободить рабочих, почитается святой. Она обожает изящные кружева, и по воротничку ее бежит тонкая гофрированная кружевная кромка. У нее таких двадцать, совершенно одинаковых, они обернуты в голубую бумажную салфетку и хранятся в верхнем ящике комода.

Бражиони цепко ловит ее взгляд, как будто он ждал его, наклоняется вперед, балансируя свисающим между колен брюхом, и поет с грандиозным воодушевлением, обдумывая каждое слово. В песне поется, что некому его утешить, у него нет ни отца, ни матери, ни даже друга; одинокий, как морская волна, он приходит и уходит, одинокий, как волна. Рот его округляется и растягивается, круглые щеки начинают лосниться от усердного пения. Чудо, как выпирают его телеса из-под дорогой одежды. Угрожающе обильный пот проступает сквозь бледно-лиловый воротник, стиснутый продетым сквозь бриллиантовое кольцо галстуком, поверх патронташа из выделанной кожи с серебряным тиснением, безжалостно сковывающего выпирающий живот, поверх блестящих желтых ботинок. Розовато-лиловые гольфы его натянуты, как струна, а лодыжки обвязаны прочными кожаными ремешками ботинок.

Когда он поднимает веки, чтобы взглянуть на Лауру, она снова замечает, что глаза у него самого натурального коричнево-желтого кошачьего цвета. По его словам, он богат, но богатство его не в деньгах, а во власти, власть же приносит с собой обладание вещами, в чем нет ничего дурного, и право наслаждаться кое-какой роскошью, которую он любит. "У меня склонность к изящному", — как-то заявил он, помахав у нее перед носом желтым шелковым платочком. "Как запах, а? 'Джоки Клаб', импортный, из Нью-Йорка". И все же жизнь не пощадила его. Сейчас он об этом скажет. "И верно: все в руке обращается в прах, а на языке — в желчь". Он вздыхает, и кожаный пояс его поскрипывает, как конская подпруга. "Я разочаровываюсь во всем, что ни встречу. Буквально во всем". Он покачивает головой. "И вы, бедняжка, тоже разочаруетесь. Это вам на роду написано. Кое в чем мы с вами больше схожи, чем вы думаете. Ничего, придет время. когда-нибудь вы вспом-

ните мои слова и поймете, что Бражиони был вам другом".

У Лауры холодок пробегает по коже, она чисто физически ощущает опасность, в крови ее предчувствие, что насилие, увечье, ужасная смерть ждут ее со все растущим нетерпением. Она низвела этот страх на уровень обыденного и каждого-дневного и иногда боится перейти улицу. "Что моя личная судьба — лишь отблеск настроения", — напоминает она себе, цитируя какой-то забытый учебник по философии. У нее достает благородства добавить: "В любом случае, если это от меня зависит, я не умру под колесами".

"Может, на самом деле я так же развернута, как Бражиони", — заставляет себя думать она, — "только по-своему, так же черства и негармонична. Если это действительно так, лучше самая страшная смерть". И все же она сидит на месте, а не бежит. Куда ей бежать? Никто не звал ее сюда, но она посвятила себя этой стране и не может больше себе представить, как будет жить на иной земле, воспоминания же о ее прошлой жизни не приносят радости.

Лаура не может точно сказать, откуда эта преданность, где ее причины и какие она налагает обязательства. Часть времени она проводит неподалеку в Ксочимилько, где учит индейских детей произносить по-английски "кошка на оконке". Когда она входит в класс, они окружают ее толпой, на их лукавых, вымазанных глиной лицах распускаются улыбки, они кричат чистыми голосами: "С добрым утром, учительница!" — и каждый день превращают ее стол в клумбу свежих цветов.

В свободное время она ходит на профсоюзные собрания и слушает, как деловые, важные голоса спорят о тактике, методах и внутренней политике. Она навещает в тюремных камерах узников одного с ней политического вероисповедания. Они развлекают себя тем, что считают тараканов, каются в своей неосторожности, сочиняют мемуары и пишут манифесты и планы для товарищей, которые еще гуляют на воле, засунув руки в карманы и глотая свежий воздух. Лаура приносит им еду, сигареты, кое-какие деньги и замаскированные в

двусмысленных фразах послания от тех, кто находится по ту сторону тюремных стен и не решается прийти в тюрьму, опасаясь исчезнуть в камерах, которые держат для них пустыми. Если узники путают ночь и день и жалуются: "Милая Лаурочка, время остановилось в этой адской дыре, и если мне не напомнят, я не знаю, когда ложиться спать", — она приносит им их любимые наркотики и говорит так, чтобы не унизить их жалостью: "Сегодня у вас будет настоящая ночь", — и хотя она странно говорит по-испански, она приносит им утешение и пользу. Когда их терпение и вера истощаются и они начинают ругать товарищей за то, что те не спешат употребить деньги или связи, чтоб их вызволить, они доверяют ей, потому что она не разболтает, а если она спрашивает: "Где же им взять денег и связей?" — они непременно ответят: "Ну как же, есть ведь Бражиони, почему он ничего не сделает?"

Она носит письма из штаба людям, прячущимся от расстрела в покрытых плесенью домах, стоящих в глухих переулках, где, сидя на мятых постелях, они говорят с озлоблением, как будто за ними гоняется вся Мексика, хотя Лаура точно знает, что, появившись они воскресным утром на концерте в Аладмеде, никто и внимания на них не обратит. Но Бражиони говорит: "Пусть они малость потрусят. В следующий раз будут осторожнее. И вообще, хорошо, когда они какое-то время не мешаются под ногами". Ей не страшно постучать в любую дверь на любой улице после полуночи, войти в темный дом и сказать одному из тех, кому действительно грозит опасность: "Завтра тебя будут искать, серьезно, после шести утра. Вот деньги от Висенте. Отправляйся в Вера Круз и жди там".

Она занимает деньги у агитатора-румына, чтобы дать их его злейшему врагу агитатору-польку. Они дерутся за расположение Бражиони, а он ловко не принимает ни чью сторону, поскольку может использовать их обоих. Агитатор-польк, в надежде использовать тайную сентиментальную склонность, которую, по его мнению, Лаура испытывает к нему, говорит, сидя с ней в кафе, о любви и снабжает ее ложными сведениями, умоляя выдать их известным лицам за чистую правду.

Румын хитрее его. Он щедро тратит деньги на всякое благородное дело и врет ей с выражением неподдельной искренности, представляясь ее добрым другом и наперсником. Лаура никогда не передает их слов. Бражиони никогда не задает вопросов. У него есть свои способы узнать о них все, что ему нужно.

Никто ее не трогает, но все хвалят ее серые глаза и мягкую, округлую нижнюю губу, с виду говорящую о веселом характере, но на самом деле всегда строгую, почти всегда плотно прижатую к верхней. И им никак не понять, что она делает в Мексике. С выражением какого-то замешательства на лице она ходит по городу с поручениями, держа в руках папочку с рисунками, нотами и школьными бумагами. Нет танцора, танец которого был бы прекраснее походки Лауры. Она способна вдруг возбудить необыкновенную страсть, которая никогда ни к чему не приводит и порождает, таким образом, всяческие пересуды. Как-то во время верховой прогулки у Куэрнаваки молодой капитан, сражавшийся рядовым в армии Сапаты, попытался проявить свою страсть к ней с благородной простотой, достойной грубого народного героя. Впрочем, он был деликатен, ибо деликатность была в его характере. Из-за этого он и потерпел поражение, потому что когда он спешился, вынул ее ногу из стремени и попытался привлечь Лауру к себе, лошадь ее, обыкновенно смирная, вдруг испугалась, встала на дыбы и понеслась. Лошадь молодого героя, недолго думая, пустилась вскачь за своей подругой по конюшне, и герой вернулся в отель лишь поздно ночью. Когда он подошел к ее столику во время завтрака, не нем была ковбойская куртка из оленьей кожи и брюки, по штанинам которых спускались ряды серебряных пуговок. Он пребывал в веселом, беззаботном настроении.

— Можно я сяду с вами? — и — Вы чудесно ездите верхом. Я страшно испугался, что она вас сбросит и потащит за собой. Нет, я в полном восторге от вашей езды.

— Я научилась в Аризоне, — сказала Лаура.

— Если вы с утра снова со мной поедете, обещаю вам лошадь, которая точно не понесет, — сказал он. Но тут Лаура

вспомнила, что в полдень ей надо возвращаться в Мехико.

На следующее утро дети устроили праздник и в отведенное для игры время написали на доске: "Мы любим нашу учительницу". Цветными мелками они вывели вокруг этих слов веночки из цветов. Молодой герой приспал ей письмо: "Я — никудышный, несдержанный глупец. Надо было сперва сказать, что я люблю вас, и тогда бы вам не надо было от меня убегать. Но мы еще увидимся". Лаура подумала: "Надо бы послать ему коробку цветных мелков", — но она старалась не корить себя за то, что пришпорила лошадь, когда не надо.

Как-то вечером к ней в патио зашел коричневый юноша с копной волос на голове. Два часа он стоял там и распевал, заблудшая душа, и Лаура никак не могла придумать, что с ним делать. Лунный свет разлился по прогалинам сада серебряной дымкой, а тени окрасились кобальтовой синью. Багряные цветы иудина дерева сделались тускло-пурпурными; механически перебирая про себя имена цветов, она смотрела, но не на юношу, а на его тень, переброшенную, как кусок темной ткани, через бордюр фонтана и стелющуюся по воде. Неслышно вошла Лупе и как знающий человек шепнула ей на ухо: "Бросьте ему цветок, он еще споет пару песен и уйдет". Лаура бросила ему цветок, он спел последнюю песню, засунул цветок за ленту на шляпе и ушел. Он один из организаторов профсоюза печатников. До этого торговал лепешками на рынке Мерсед, а еще раньше "я приехал из Гванахуато, я родом оттуда. Я никому не доверяю, а тем, кто из Гванахуато — тем более".

Она не сказала Лауре, что на следующий вечер он вернется, и на следующий, и что он будет идти за ней следом на некоем неизменном расстоянии по рынку Мерсед, через весь Соколо, вдоль по проспекту Франсиско 1, по Пасео де ла Реформа до парка Чапультепе и по Тропинкам Философов, и на шляпе у него будет увядать тот самый цветок, а глаза станут смотреть с неотрывным вниманием.

Теперь Лаура привыкла к нему. Дело все в том, что ему всего девятнадцать. Он так неукоснительно соблюдает услов-

ности, как будто они основаны на некоем законе природы, и, может, в конечном итоге окажется, что так оно и есть. Он начал писать стихи, которые печатает на деревянном прессе и заsovывает ей в дверь, как рекламные проспекты. Она приятно смущена какой-то отвлеченной, неспешной настойчивостью его черных глаз, которые в свое время с легкостью обратятся к иному предмету. Она говорит себе, что сделала ошибку, бросив ему цветок, ибо ей уже двадцать два, и пора бы быть умнее, но она не хочет в этом раскаиваться и убеждает себя, что отрижение всех происходящих с ней внешних событий есть признак того, что она постепенно приобретает стоицизм, который старательно в себе воспитывает, дабы оградить себя от беды, которой она страшится, хоть и не знает, какая это беда.

Ей не по себе в этом мире. Каждый день она учит детей, остающихся для нее чужими, хоть ей и по сердцу их нежные пухлые ладошки и очаровательная эгоистическая дикость. Она стучится в незнакомые двери, не зная, откроет ей друг или враг, и даже если из угрюмого полумрака чужого дома появится знакомое лицо, все равно это лицо незнакомца. Что бы ни сказал этот незнакомец, какое бы послание ни несла она ему, самые клеточки ее тела отрицают знакомство и родство одним монотонным словом. Нет. Нет. Нет. Она черпает силы в этом слове-амulete, не дающем ей власть во грех. Отрицая все на свете, она везде чувствует себя в безопасности и взирает на все без удивления.

Нет, повторяет этот твердый ровный голос ее крови, и она глядит на Бражиони без удивления. Он великий человек, и он хочет произвести впечатление на эту простую девушку, прикрывающую округлость своей пышной груди плотной темной тканью и прячущую длинные, необычайно красивые ноги под тяжелой юбкой. Она почти худа, только грудь ее непостижимо полна и напоминает грудь кормящей матери, и Бражиони, считающий себя знатоком женщин, размышляет снова о тайне ее одиозной девственности и позволяет себе вольность речи, которую она допускает, никак не выказывая своей скромности, да и вообще ничего не выказывая, что несколько

угнетает его.

"Вы думаете, вы холодны, грингита? Погодите. В один прекрасный день вы сами себя не узнаете. Хотел бы я быть тогда рядом с вами и помочь вам советом!" Он смотрит на нее из-под век, взгляд его недобрых кошачьих глаз устремляется в сторону двух световых пятен, отмечавших противоположные концы гладкой дорожки, пролегающей между округлостями ее высокой груди. Его не обескураживает ни эта синяя саржа, ни ее нарочито неподвижный взор. Времени у него сколько угодно. Щеки его раздуваются от песни. "О темноглазая", — поет он, но передумывает. "Но у вас глаза не темные. Все это можно заменить. О зеленоглазая, ты полонила мое сердце!" — потом мысли его уходят в песню, и Лаура чувствует, как ее покидает его тяжелое внимание. Когда он так поет, он кажется безобидным, вполне безобидным, и делать ничего не надо, только терпеливо сидеть, да, когда придет время, сказать: "Нет". Она делает глубокий вдох, и мысли ее тоже уходят куда-то, но недалеко. Она не смеет дать им разбрестись слишком далеко.

Не просто так постарался Бражиони сделаться хорошим революционером и профессиональным человеколюбом. С ним все будет в порядке. Он злобен, хитер, коварен, остер умом и жестокосерден, что помогает извлекать прибыль из любви к человечеству. С ним все будет в порядке. Он еще проживет до того времени, когда другие голодные спасители человечества прогонят его от кормушки. Он рассказывал Лауре, что должен петь по семейной традиции, хотя жизнь вынуждает его проливать кровь; отец его, тусканский крестьянин, перекочевал на Юкатан, где женился на женщине племени майя, из хорошего рода, аристократке. Они привили ему любовь к музыке и научили его играть. И струны плачут под рывками его пальцев, как обнаженные нервы.

Когда-то девушки звали его Дельгадито, и он женился на женщинах, которые бегали за ним; он был столь тощ, что kostи выпирали из-под его тонкой ситцевой рубашки, и он мог руками прижать свой пустой живот к позвоночнику. Он был

поэтом, а революция тогда была лишь мечтой. Слишком много женщин любило его, они осушали соки его юности, и никогда, нигде, нигде! он не мог наесться досыта. Теперь он вождь и ведет за собой людей, ловких людей, которые шепчут что-то ему на ухо, голодных людей, которые часами ждут у дверей его конторы, чтобы поговорить с ним, истощенных людей с безумными лицами, которые ожидают его у ворот и смиренного говорят: "Товарищ, я хотел вам сказать...", — и дышат ему в лицо нечистыми испарениями своих пустых желудков.

Он всегда им сочувствует. Он зачерпывает в кармане и дает им пригоршни мелочи, обещает работу, говорит, что предстоят демонстрации, что надо вступать в профсоюз иходить на собрания и, главное, надо беречься шпионов. Вы мне роднее братьев, без вас я ничего не могу, — до завтра, товарищ!

До завтра. "Они дураки, бездельники и двурушники, они мне ни за грош глотку перережут", — говорит он Лауре. У него хорошая еда и сколько угодно выпивки, он берет напрокат машину и ездит воскресным утром по Пасео, он хорошо и долго спит в мягкой постели рядом с женой, которая боится его потревожить, и сидит, нежа свои кости в покойных жировых складках, и поет Лауре, которая такое про него знает и такое про него думает. "Когда мне было пятнадцать лет, я пытался утопиться, потому что в первый раз влюбился в девушку, а она надо мной смеялась. За это заплатила тысяча женщин", — и углы его узкого рта ползут вниз. Теперь он брызгает на волосы "Джоки Клабом" и откровенничает с Лаурой: "В темноте женщины для меня все одинаковы. Я их всех люблю".

Жена его организует профсоюзы среди работниц табачных фабрик, шагает в стачечных пикетах, а по вечерам даже выступает на собраниях. Но ей нельзя втолковать, чем хороша настоящая свобода. "Я ей говорю, у меня должна быть свобода, самая натуральная свобода. Она не понимает моих взглядов". Лаура слышала это много раз. Бражиони поскребывает гитару и размышляет вслух: "От природы она очень достойная женщина, чистое золото, об этом спору нет. Была б она

не такой, я посадил бы ее под замок, и она это знает”.

Жена его, так много делающая ради фабричных работниц, часть времени проводит, лежа на полу и обливаясь слезами, потому что на свете столько женщин, а у нее всего один муж, и она никогда не знает, где и когда его искать. Он сказал ей: “Если ты не научишься плакать, когда меня нет дома, мне придется уйти навсегда”. В тот день он ушел и снял номер в отеле “Мадрид”.

Вот этот-то месяц разлуки ради высоких принципов и был испорчен не только для жены Бражиони, которую нельзя обвинить в отсутствии реалистического подхода к действительности, но и для Лауры, чувствующей себя, как в дурном сне. В этот вечер Лаура завидует жене Бражиони, которая находится в одиночестве и может плакать, сколько ей хочется, из-за какой-то конкретной обиды. Лаура возвращается из тюрьмы и ждет завтрашнего дня с мучительной тревогой, как будто завтра может не наступить, но, возможно, время в этот час остановилось, она прикована к месту, Бражиони поет и поет, а тело Эухенио еще не обнаружил надзиратель.

Бражиони спрашивает: “Вы собираетесь спать?” Не успевает она покачать головой, как он начинает рассказывать ей, что на Первое мая произойдут беспорядки в Морелии, потому что католики устраивают празднество в честь девы Марии, а социалисты в этот день поминают своих мучеников. “Будут две отдельные демонстрации, с разных концов города, они будут идти, пока не встретятся, и тогда все зависит от того...” Он просит ее смазать и зарядить ему пистолеты. Он встает, расстегивает свой тяжелый патронташ и кладет его на колени Лауре. Она сидит, патроны скользят в тряпочке, окунутой в масло, а он снова говорит, что никак не поймет, почему она так старается для революции, наверное, она влюблена в кого-нибудь из ее участников. “Ну разве вы не влюблены в кого-нибудь?” — “Нет”, — отвечает Лаура. “И вас никто не любит?” — “Нет”. — “Тогда вы сами виноваты. Нет женщины, которую надо было бы об этом просить. Да что с вами, на самом деле? У безногой нищенки на Аламеде есть вполне

верный любовник. Слышали об этом?"

Лаура смотрит в пистолетное дуло и не отвечает, но внутри ее поднимается и отступает долгая, медленная волна слабости. Бражиони обвивает пухлыми пальцами горло гитары и мягко выжимает из нее музыку, и когда она слышит его снова, он уже, кажется, забыл про нее и говорит тем гипнотическим голосом, которым вещает перед сгрудившейся в маленькой комнате внимательной толпой. Когда-нибудь этот мир, кажущийся сейчас таким покойным и вечным, от моря и до моря обратится в клубок зияющих траншей, рушащихся стен и ломаемых костей. Все, гнившее веками, надо выдрать из привычного места, швырнуть в небеса, перераспределить, опустить обратно вниз чистым, как дождь, безликий. Исчезнет все, созданное корявыми пальцами нищеты для богатеев, и никого не останется в живых, кроме избранных душ, которым судьбой уготовано выпестовать новый мир, очищенный от жестокости и несправедливости и управляемый благодатной анархией. "Пистолеты — хорошее дело, я люблю пистолеты, но пушки еще лучше, хотя в конечном счете я положился бы на добрый динамит", — заключает он и поглаживает лежащий у нее в руках пистолет. "Как-то я жаждал разрушить этот город, если он окажет сопротивление генералу Ортису, но он упал к нему в руки, как перезрелая груша".

Возбужденный своими собственными словами, он поднимается и ждет стоя. Лаура подает ему патронташ: "Наденьте вот и ступайте в Морелию, убейте там кого-нибудь, это поднимет вам настроение", — мягко говорит она. Присутствие смерти в комнате придает ей смелости. "Сегодня я увидела, что Эухенио впадает в ступор. Он не дал мне позвать тюремного врача. Он выпил все таблетки, что я вчера ему принесла. Он сказал, что съел их, потому что ему скучно".

— Дурак он; если хочет он умереть, это его личное дело, — отвечает Бражиони, аккуратно застегивая патронташ.

— Я сказала ему, что если бы он подождал еще чуть-чуть, вы бы его освободили, — говорит Лаура. — Он сказал, что не хочет ждать.

— Он дурак, и очень хорошо, что мы от него избавились, — отрезает Бражиони, беря шляпу.

Он уходит. Лаура знает, что настроение у него изменилось, и он какое-то время не будет с ней видеться. Он даст ей знать, когда надо будет бежать с поручениями на незнакомые улицы и разговаривать с чужими людьми, которые вырастут перед ней, подобные обладающим даром речи глиняным маскам, и бормочущими голосами будут благодарить Бражиони за помощь. Теперь она свободна и думает: надо бежать, пока еще есть время. Но она недвигается с места.

Бражиони входит в свой дом, где жена его целый месяц каждую ночь плакала часами и разбрасывала волосы по подушке. Сейчас она снова плачет, а увидев его, источник всех ее горестей, плачет еще сильнее. Он оглядывает комнату. Ничего не изменилось, пахнет хорошо и знакомо, он близко знает подходящую к нему женщину, которая не упрекает его, а лишь смотрит печально. Он говорит ей нежно: "Ты так добра, пожалуйста, не плачь больше, милое созданье". Она говорит: "Ты устал, ангел мой? Садись, я вымою тебе ноги". Она вносит тазик с водой, становится на колени и развязывает ему шнурки, а когда поднимает глаза из-под потемневших век, ему становится стыдно, и он разражается слезами. "О да, я голоден, я устал, давай поедим вместе", — всхлипывает он. Жена кладет голову ему на руку и говорит: "Прости меня", — и на этот раз торжественный, нескончаемый поток ее слез освежает его.

Лаура снимает свое саржевое платье, надевает белую льняную рубашку и ложится. Она склоняет голову набок и лежит недвижимо, напоминая себе, что пора спать. Цифры тикают у нее в голове, как маленькие часики, вокруг нее бесшумно захлопываются двери. Если заснешь, тебе нельзя ни о чем вспоминать, а дети завтра скажут доброе утро, учительница, бедные узники, каждое утро приносящие цветы своей тюремщице. 1-2-3-4-5, ужасно путать любовь с революцией, день с ночью, жизнь со смертью, — о Эухенио!

Звон полуночного колокола звучит сигналом, но что

значит он? Вставай, Лаура, и следуй за мной, проснись, встань с постели, выйди из этого чужого дома. Что делаешь ты в этом чужом доме? Беззвучно, бесстрашно она встала и протянула руку к руке Эухенио, он уклонился, резко и лукаво усмехнувшись, и уплыл. Это не все, ты увидишь, — Убийца, сказал он, ступай за мной, я покажу тебе новую землю, но до нее далеко, и нам надо спешить. Нет, сказала Лаура, нет, только если ты возьмешь мою руку, нет; и сперва она ухватилась за лестничные перила, а потом за верхнюю ветку иудина дерева, которое медленно наклонилось и опустило ее на землю, а потом за скалистую кромку утеса, а потом за зубчатую волну моря, которое было не водой, а устланной осыпающимися камнями пустыней. Куда ты меня ведешь, спросила она с любопытством и без страха. К смерти, а это не близко, и нам надо спешить, ответил Эухенио. Нет, сказала Лаура, только если ты возьмешь мою руку. Тогда ешь эти цветы, бедная узница, сказал Эухенио голосом, полным жалости, возьми и ешь их; сорвал с иудина дерева теплые кровоточащие цветы и поднес к ее губам. Она увидела, что рука его бесплотна, гроздь окаменевших белых веточек, а глазницы темны, но она съела цветы с жадностью, ибо они утоляли и голод, и жажду. Убийца! сказал Эухенио, — и Людоед! Это тело мое и кровь моя. Нет! крикнула Лаура и от звука своего голоса пробудилась, вся дрожа, и уже боялась заснуть снова.

1930

Перевел Владимир Козловский

АРХИВ

СТИХОТВОРЕНИЕ АЛЕКСАНДРА РИВИНА

Публикуемое здесь стихотворение — первое из стихов Александра Ривина, появляющееся в печати.¹ Более того, большинство из них сохранились только в памяти людей его поколения и были записаны уже через много лет после его смерти или исчезновения. Это и побуждает нас ограничиться пока публикацией одного стихотворения, т.к. оно известно нам в автографе; остальные же — только по записям, сделанным по памяти, причем с большим числом — иногда весьма существенных — расхождений. До тех пор, пока не будет собрано какое-то количество аутентичных текстов, всякая попытка текстологии представляется преждевременной.

Александр Ривин (даже его отчество пока не удалось установить) родился в 1914 или 1915 году. Известно, что после школы он какое-то время работал на заводе, где ему машиной искалечило руку (ср. в упомянутом стихотворении: "Мне безрукому остаться / С пацанами суждено, / И под бомбами шататься / Мне на хронику в кино"). В 1932 или 1933 году он поступил на романо-германское отделение литературного факультета ЛИФЛИ. После первого курса летом попал в психиатрическую больницу с диагнозом — шизофрения. Выйдя оттуда, насколько нам известно, нигде не работал. Жил он отдельно от семьи; незадолго до его поступления в ЛИФЛИ умерла его мать, и отец женился вторично. В конце тридцатых годов Ривин был известен в Ленинграде как "проклятый поэт" (самоназвание, см. ниже о его переводах из Верлена), живший тем, что ловил и продавал кошек. Из студентов и профессоров 30-х г.г. его помнят многие, известно, что его стихами восхищался Г. А. Гуковский. Характерный анекдот: Ривин приходит к Гуковским, садится на пол, держа двумя руками собственную ногу, и начинает петь еврейские псалмы. Когда его просят перестать, открывает один глаз и просит: "Дайте тимак" ("рубль"). Когда ему дают рубль, начинает читать — частично петь — свои

стихи. Может быть именно с этой манерой исполнения следует связать обилие в них реминисценций (нарочитых, явных) из песен (Вертинского, шлагеров 30-х г.г. и т. п. Так стихи о Вечном жиде строятся в основном на рефрене "Желтого ангела" Вертинского, а стихотворение "Дроля моя, сколько стоит радость" — на строчке из песни "Все, что только может дать любовь". Известно, что он прекрасно знал французский, переводил Верлена. Сохранились стихи: "Осених скрипок протяжный голос / Томит мое сердце монотонной тоской", а также четверостишие из перевода Мюссе (неизвестно, существовал ли перевод полностью) :

Это было темной ночкой,
И над башней пожелтелой,
Как над і холодной точкой
В небесах луна блестела.

По непроверенным данным один его перевод Поля Вайяна-Кутюрье был опубликован, но найти его пока не удалось.

Точно известно, что он дожил до начала войны, по предположению информанта 22 июня 1941 г. (предположение слишком мотивированное, чтобы быть правдоподобным) датируется четверостишие:

От тревоги к тревоге мечась,
Тихо заживо в яме сиди.
Помни: Гитлер — рыцарь на час,
Но весь этот час — впереди.

По достаточно достоверным сведениям он хотел пробраться к румынскому фронту, чтобы там (несмотря на поврежденную руку) стать переводчиком. Это сообщение относится к осени 1941 г., и это последнее, что известно о Ривине.

Публикуемое стихотворение относится к 1933 или 1934 году, т.е. к "раннему Ривину". Оно существенно отличается от более поздних стихов, но некоторые из его друзей именно это и считают "настоящим Ривиным". Во всяком случае в данный момент это единственный известный нам аутентичный текст,² интересный еще и тем, что он посвящен не только собственно

поэзии, представляя собой описание создания стиха (отчасти в синэстетическом восприятии), но и непосредственно Пастернаку (ср. стихотворение Ривина "Годами когда-нибудь, в зале концертном", целиком построенное на Пастернаковских темах). В нем в позитивном аспекте обыгрывается тот каламбур, которому суждено было появиться впоследствии в совсем других контекстах.

Текст представляет собой беловой автограф на двух листах с единственным исправлением (явная описка при переписывании набело: в 6-м стихе 3-й строфы, после слова "строфа" и перед следующим словом, зачеркнуты буквы "ош"—начало слова "ошерясь", которое следует после слова "строфа" в следующем стихе). Совершенно ясна также разбивка на строфы (нигде при переносе на оборот листа или на другой лист страница не кончается последним стихом четверостишия, как правило, в восьмистишных строфах первый стих второго четверостишия оставляется на той же странице, что и первое четверостишие). Мы полностью сохраняем орфографию и пунктуацию подлинника, в очевидных случаях вставляя опущенные запятые в квадратных скобках. Ударения расставлены в автографе. Из них особенно интересно ударение в слове "ко́смос", обозначающее, что для Ривина существовала альтернатива (ср. в его стихах: "Когда ха́ос сгущался в мирозданье, / Кто мог уже тогда понять ха́ос"). Возможная ошибка при переписывании — "чтоб" (вместо "чтобы")? в 4-м стихе 8-й строфы, восстанавливается нами из метрических соображений и из-за соблюдения строгого метра в контексте (конечно, это не окончательный аргумент). Наконец, хочется особо отметить первый стих 6-й строфы: "Здесь треснет метра черствый панцырь" — не может ли этот стих быть связан с мотивом "черепахи-пиры"?

1. Единственное упоминание имени Ривина — точнее неупоминание — это посвященные ему стихи Д. Самойлова "Памяти А. Р." (*Тарусские страницы*, Калуга, 1961, стр. 204); в последующих публикациях появился эпиграф, подписанный теми же инициалами, представляющий собой первую строку стихот-

ворения Ривина "Вот придет война большая".

2. Автограф любезно предоставлен нам С. В. Поляковой, с ее помощью получены и некоторые из приведенных здесь сведений.

Вот так на небе стынет вязкость
 Мослачых нутряных густот.
 Суставища распертых строк
 Пойдут надрыгивать и ляскать.

В суставы строк всочится терпкость
 Сырых не^бжатых мелодий,
 Полимния пойдет с Евтерпой
 Вытягивать хрустлявый холст...
 Какою чашей надо черпать
 Горячечное половодье
 Танина, крови, желчи репьей,
 Набитое в глухую кость?

— Что ж! К музам этим даже свах нет [,]
 И ткань отмашется [,] простынув
 На тихом, кухонном дыху...
 Набухнет в гром такой домашний,
 Такой домашний хруст простианный,
 Стока громовостью набрякнет,
 Струфа, ощерясь о строфу,
 Шипя. Железом. Черствым. Шваркнет.

Струфа набухнет по пухлым каплям
 Копеечным ленивым звоном,
 Капельною струею сонной,
 Чей блик, скользнув по пещным кафлям [,]
 Копнет ребром их рыхлый глянец,
 Струфа набухнет по пухлым каплям
 Копийным свистом из темных капищ,
 Копытным цоком эскадрона,
 Струфа из кухни в космос грятет.

Так дым отвердевает в камень,
 В струистый глянец изразцовый,
 Аккорду жадными рывками

Дано симфонией отжечься...
 Струна набухнет по пухлым каплям,
 Как набухает бутон сосцевый
 По каплям зрелости, отжатым
 Из гущи маслянистой детства.

Здесь треснет метра черствый панцырь [,]
 И в выверенном в жох калибре,
 В скупом, нацеленном упрямстве,
 Стиха горючий стебель выпрет.
 Да, стих есть плоть! В ее комплоте
 Не отбеснется дыханье
 Биофталльбоса. Он упрочит
 Строки живое набуханье.

И он ударит, крови терпче,
 И дрогнет, трепетней, чем сердце [,]
 Заветный овощ, пряный злак!
 Он вечно трепетен и тепел
 Горючий, горький, терпкий стебель,
 — Что, Пастернак? — Да, Пастернак!

— Да, Пастернак! И эта терпкость
 (Не с кухни ли чесночной нацы?),
 Которой, спичечною серкой,
 Тлеть, чтоб не воспламеняться [,]
 Дано, чтобы в кровяном плесе
 Ловить ее волной прогорклой,
 Как ловится предел экспрессии
 В дистанции по недомолвке

.....

Таким останетесь Вы. Мало
 Иным бывает нужен зет.
 — Чем этот пласт детерминала

Взорвать, расколотить, прожечь?
Каким, скажите, аммоналом!

Дано вам в ледененыи жечься,
А в жженыи, в жженыи леденеть.

У Люверс больше нету детства,
А в зрелости ей нужды нет!

* * * * *

Дополнение

В процессе печатания предыдущего стихотворения нам удалось получить еще один аутентичный текст Ривина (на этот раз в машинописи — 2 л.л. с рукописной правкой и пагинацией, не рукой Ривина). Точно датировать текст нельзя, но видимо он относится к тому же времени, что и стихотворение о Пастернаке (т.е. относится к числу менее известных стихов, написанных до болезни).

Отрывок

Пренебрежительных неряшеств
походкой пропылилась полость,
запавшая почти незряче,
квартиры следственно-еврейской,
в которую швырком нерезким,
полоотпахнутым вкололась
тусклорумяная мисс Шелли,¹
в трухлявой вохности² реальна,
в прогорклости ее сигнальна,
как в этом терпком завершены.

Так начинается не сразу
по выпадам недоуменья,
простачки — веры несомненней,
по заданному въявь рассказу,
нерасторжимое роение
догадок, болей и смятений.

Да были были, боли были, —
Страдали, страждали, любили,
рыдали, верили, бороли
себя³ в угоду честной роли
в сквозной реальности спектакля,
где режиссерствуют любовью,
суплерствуют порожней болью
и утверждаются.

— Не так ли?

— Где кровью за билеты платят
на злое зрительское право,
герой, актерствуя в расплате,
расплачивается расправой
над зрителем — самим собою,
те, в зале, воют "Нам бы, нам бы!"
и под напяленной любовью
та задыхается у рампы.
Но вы навеки вне спектакля
— Чем утверждаетесь? И так ли?

1. Может быть Мэри Шелли (с соответствующими импликациями); но следует помнить, что двоюродную сестру Ривина звали Рашиль (уменьшительное, Шеля).

2. Так! Слово непонятно, хотя опечатку трудно предположить.

3. Интересный пример переноса, где отделенная возвратная частица приобретает (этимологически) полную форму, с переосмысливанием (боролись — бороли себя).

Б. Л. Пастернак

ПИСЬМО Ю. И. ЮРКУНУ

Москва, Волхонка 14, кв. 9

14/У1-22

Дорогой Юрий Иванович!

Посылаю Вам альманах, в котором напечатана моя повесть, а Михаилу Алексеевичу только что вышедшую "Сестру мою жизнь". Эту последнюю хотелось бы надписать и Вам, да делать нечего, — в день ее выхода почти все авторские были расхватаны никогда мне скучать не дающими приятелями, сплошное посещение которых, кстати сказать, останется не последнею причиной того, что работать мне совершенно не приходится, редко счастливится что-нибудь прочесть, о письмах же, а то и просто об минуте другой молчаливого про себя размышленья и не мечтается. Последствий такого положения много, к числу их отнесите и мое молчание, которое, быть может, Вас и не удивило, но тяготило мою собственную совесть, после того, что я прочел Вашего причудливого и дурного Пичунаса, который, конечно, ближе и роднее мне сегодняшней и вчерашней, майской и мартовской, московской и петроградской, временной и местной и потому, разумеется — несовременной, ведущей сомнительное существование (— появляется, не составляя явления) художественной прозы. Говорю о ней безо всякого отчаяния, без сетующего поминанья лучшего прошлого, говорю так оттого, что ее и наше будущее — постижимое одно — разумом, другое — волею. И несомненно, только творческое малодушие может заставить людей нашего возраста и возраста наших старших друзей согласиться с той схематической классификацией, которую создала критика. Не буду говорить о себе. Но я считаю родными себе тех людей, самый расцвет впечатлительности и способности выражения коих совпал с началом войны. О них установилась аксиома какой-то "дореволюционности", "выслушанности читателями до конца", "высказавшего себя без остатка мастерства", "символизма, акмеизма, буржуазности" и т. д. При устано-

вившемся у нас — час по нашим часам назад — взгляде, это, как Вам верно известно, означает что-то вроде доисторического происхождения. А между тем, ведь эти: семнадцатые, восемьнадцатые и так далее, разве были бы они вообще чем-нибудь стоящим на земле, а тем паче годами великой революции, если бы не были эти годы моим или Вашим тридцатым, или чьим-нибудь сороковым, пятидесятым. Или же шестидесятым.

Вы приметесь качать головою? Ну, а если я, подав Вам семидесятого, не удовольствуюсь и потянувшись за следующим? Когда это художники перестали кровно нуждаться в долгой жизни и жадно желать *необходимого*, как *роскоши*? Когда стряслось то, что из их мечты о бессмертии, *осознательно наполненной* всею флорой поясов, в которых мы додыхивались до единобожия, ушла и выпала земля, это шаробразное зерно вышеописанной мечтательности, долгой, прожекторальной мечтательности, полосою слепнущего нетерпения, скопом биографического фосфора, рвущегося, Бог знает куда, — когда это случилось? Это случилось в годы нашего упадка и в нашей воле все это изменить.

Вероятно, есть люди одаренные среди "Серапионовцев". Вероятно, очень хорош Замятин, изобретший быт. И, вероятно, недурен Пильняк. Все это — люди Революции (за искл. Замятина) (когда это слово произносится под эмфатической подливкой и оканчивается на еры). Вот, и они, конечно, — беспартийные. О моей партийности Вам нечего говорить. Но знаете, чем я такой народ* теперь люблю ошарашивать?

Я серьезно и запальчиво заявляю им, что я — коммунист, неопределенных разговоров не вожу, а затем уже раздраженной скороговоркой прибавляю, что коммунистами были и Петр, и Пушкин, что у нас, — и слава Богу, Пушкинское время, и как ни дико быть Петербургу в Москве, ему было бы легче этот географический парадокс осилить, если бы все эти "люди революции" не были личными врагами памятника на Тверском бульваре и, *следовательно* — контрреволюционерами. И это не

*Такой разговор был у меня с Пильняком.

только поза, скажу Вам, это не только поза оттого, что все нестилизованные и безстильные революционеры, и люди времени берутся за высказанное, как за свой собственный стиль, как неожиданно и независимо он им ни высказывается. К примеру вот мои две вещи, которые Вам посылаю.

Найдите в них хоть что-нибудь "революционное" в ходовом смысле.

Просто смешно, до чего "Сестре" посчастливилось. Мало сказать аполитическая книга, в которой при известной натяжке можно выудить политическое словцо, да и то оказывается — Керенский, — книга эта должна была вызвать самые ходячие и самые натуральные нападки, а между тем, — и эту терминологию можно простить — она признается "революционнейшую". Я бы ничего этого не писал Вам, Юрий Иванович, если бы оно не было интересно в качестве симптома и пробы своего на другом. Я почти убежден, что Вам порывистая определенность, экспрессионизм, выразительная расправа с содержанием туга и лично накапливающимся, жизненно мечтательным etc. — сродни и по душе. Вот значит и Вы петербуржец, вот и Вы коммунист и человек революции — и я был тем первым дураком, на котором это предложение доказалось, как на яблоках. Вот какими я сейчас истинами ушиблен. Что если это и не так (о, конечно), то надо так сделать, чтобы революция была временем скорых темпов, зрелых исповедей и мужественно-сказочных притязаний.

В прямой связи со сказанным ото всей души и горячо желаю Вам скорейшей и успешнейшей работы. Я обращаюсь к Вам не как к собеседнику, а как к Юркуну. Я мог бы пожелать того же (т. е. чтобы Юркун взялся за работу и начал, забыв о достижениях) любому Х-у или греку или самому себе, как читателю. В той же связи, странно сказать, хотелось мне надписать книгу и Кузмину и Ахматовой. В случае с Анной Андреевной боязнь показаться фамильярно-панибратствующим (а как это было бы далеко от истины!) преодолена чувством живого знакомства с ней. В этом духе я и сделал ей надпись: как человеку, несправедливо потерпевшему от дружественной

критики, преждевременно объявляющей человека мастером, канонизирующей его в меру своих умеренных требований и больше ничего от него не желающего. А когда я книжку ей надписывал, я видел пред собой чуть что не девочку с тем восприимчивым воображением, которое чурается всякой обобщенности и отвлеченья, даже того малого, какое заключается в понятии "зрелого человека", не говоря уже о той абстракции, которой подвергается человек, мириящийся со званием мастера. А сколько еще роящихся и не сроившихся элементов в "Нездешних вечерах".

Мне очень близок и дорог прием мгновенного и мимолетного затрагивания пейзажа и задевания за него в вещах большой лирической скорости и прямого сердечного назначения. И я недалек был от того, чтобы Кузмину надписать книгу как товарищу, который тоже торопится и жалеет об упущенном и ничего еще не сказал, — Вы понимаете. Но такая надпись действительно свидетельствовала бы о недалекости. А между тем, если на что я и отзываюсь сейчас восхищенно и горячо, то именно всегда *так* только, в порядке порывистого *сверстничества*, не разбираюсь в подробностях возраста и творческих заслуг. Но я заболтался с Вами. Так жаден и тороплив я стал оттого, что пятый уже год ничего не делаю, и по сей самый день и для того, чтобы снять с себя горб этого закоснелого безделия и выпрямиться для дела задумал я в близком будущем месяцев на 6 съездить за границу, верно, поселюсь где-нибудь в Марбурге или Геттингене, да я, быть может, об этом Вам и говорил. От Берлинской литературной шумихи, в которую я уже без моего ведома и против воли отчасти втянут, буду разумеется держаться в стороне.

Дорогой Юрий Иванович, я, верно, никогда не кончу этого несчастного и многословного письма. Но мне действительно и серьезно хочется переписываться с Вами. То обстоятельство, что это письмо я дописал и что оно у меня в столе не останется — факт беспримерной редкости, — и меня очень огорчит, если Вы мне до моего отъезда не ответите.

Пробуду я тут еще с месяц. Мне так жалко, что не

удалось побывать у Михаила Алексеевича и с ним познакомиться. Одно время я утешался мыслью, что до отъезда побываю еще в Петербурге или поеду на Ревель.

Однако, эту мысль теперь придется бросить. До возвращения в Россию свидеться нам не удастся. По возвращении же думаю, вообще, на жительство переехать в Петербург и там обосноваться. Напишите же мне обязательно. Читали ли Вы "Версты" Марины Цветаевой и "Стального Соловья" Н. Асеева. Прекрасные книги, — не правда ли? Асеев весной приехал с Д. Востока, и я ожил, — это лучший мой друг.

Всего лучшего, Юрий Иванович, жму крепко В/руку и от души приветствую М. А.

Ваш Б. Пастернак



Иванов-Разумник

ПИСЬМО Б. Н. БЕЛОМУ

Ленинград

7/XI/27

Дорогой и сердечно-любимый Борис Николаевич,

Только что вернулись мы с Варварой Николаевной с похорон Федора Кузмича. Устал я смертельно за три последние дня (да и вообще устал), прошел за гробом с добрый десяток верст, промерз; вернулся в девятом часу вечера домой — и ничего делать не могу. Не читается, не сидится, не лежится. Потянуло написать вам — хоть и без ока здессы рассказать о последних днях Сологуба.

Три года мы с ним "стена в стену", — и я благодарен судьбе, что она дала мне узнать милого, простого, детски-смеющегося Федора Кузмича, а не того Сологуба, каким раньше я его знал (вернее — представлял) : "комнатного", обидчивого, брюзгливого, резкого, тщеславного. Все это — было, но было той внешней шелухой, за которой таилась детская, добрая душа; он был очень застенчив (право!) — и скрывал эту застенчивость в резкости; он был очень добр и отзывчив — и стыдился своей доброты; был широк и окутывал себя часто досадной мелочностью. Я никогда не верил Андерсену, что "позолота — сотрется, свиная кожа — останется". Свиная кожа истлевает, а золото под ней — останется.

Девять месяцев не вставал он с постели; мучился страшно, и чем дальше, тем больше. Я заезжал к нему часто, сидел у него недолго, чтобы не утомлять. Он лежал детски-радостный, или бессильно-измученный, смотря по состоянию минуты; страшно радовался, когда я говорил ему, что Варвара Николаевна и я найдем ему квартиру в Царском Селе, что как только ему станет немного лучше — его перевезут туда, что там он окрепнет, поправится... Умирать — страшно не хотел, не хотел и говорить об этом. И лишь месяца полтора назад впервые сказал, задыхаясь от боли: "Нет уж, видно перееду не в Царское Село, а в общую яму..." Но на следующий же раз — опять:

"Нет, видно не поправлюсь, пока не перееду в Царское Село..."

В последний раз я был у него в пятницу, 2 декабря, за три дня до смерти. Предыдущий день был для него тяжел, он криком кричал от болей (почки не работали). Потом боли утихли, он успокоился, был слаб, но говорил без умолку и плакал горько. Я пробыл у него минут десять; пробовал глу- по уговорить, что "вредно" так плакать. "Ах, дайте же мне вы- плакаться; разве вы не знаете, какая радость слезы... И что теперь для меня "вредно"? Дайте мне на прощанье поплакать. Господи, прибери меня — вот единственная теперь моя молит- ва. Господи, прибери меня; Господи, довольно..." И тут же: "Простите меня, простите меня за эти слезы и стоны; но не могу, не могу больше..." Я сказал, что пусть он меня простит, пусть всех нас простит за то, что языки у нас деревянные, что ни одного слова утешения нет у нас за душой..." Да разве есть — слова утешения? разве есть *слова* (подчеркнул) утешения? Есть лишь *Слово* (тоже подчеркнул). И вот — плачу, выпла- каться хочу, дайте мне плакать". И потом — о Достоевском, о Соне Мармеладовой, о чиновнике Мармеладове... "Тоже утеши- ли: поминальный обед... с дракой. Всякий поминальный обед непременно с дракой. Господи, какая! Бедная, бедная Соня! Дайте мне с нею поплакать!"

Таким видел я его в последний раз. Потом два дня, суб- боту и воскресенье, сидел дома простуженный. В субботу воз- обновились мучения, он кричал — но уже не "Господи, прибери меня!", а — "не хочу умирать! Как она смеет, костлявая! Что я, разве лягушка, чтобы тащить меня в болото! Не хочу!" В воскресенье — успокоился, заснул; сон к утру понедельника перешел в конец. В понедельник утром я получил телеграмму: "началась агония; выезжайте". Мы сейчас же поехали с Вар-варой Николаевной; приехали к 12 часам. Он уже лежал тихий, спокойный, суровый, но серьезный; за болезнь оброс серебряной бородой — и очень был похож на Сологуба 1905-1906 года, когда я увидел его впервые. Умер он тихо, не при- ходя в сознание, в 10 1/2 ч. утра.

День прошел в суете и хлопотах; вечером была уже

панихида. Ночь я провел у тела; просил оставаться со мною ми-лого Дмитрия Михайловича, и мы вдвоем просидели за раз-боркой до утра. Вчера, во вторник — перевезли его в залу Союза Писателей, — в залу нашей Вольфы. Вот судьба! Два года тому назад провел последние часы в Вольфе Есенин, перед отправкой тела в Москву; теперь провел ночь Сологуб. Хор Капеллы исполнил реквием Моцарта. Сегодня в 12 часов после трех речей (очень хороших, потому что очень кратких) дви-нулись на Смоленское кладбище. Отпели. И теперь Сологуб лежит в нескольких десятках саженей от Блока. Поклонился я Федору Кузьмичу и от Вас — поцеловал его — простился навсег-да. Кто-то третий будет проводить ночь в зале бывшей Воль-фили?..

Две недели тому назад Федор Кузьмич дал мне пять тетрадей последних стихов (1925-1927), чтобы Варвара Нико-лаевна переписала отмеченные им, а я попытался бы устроить в каком-нибудь издаельстве сборник его стихов. Я и устроил — сегодня, на похоронах; теперь — легко, когда человек умер; а вот при жизни... — да что говорить!

Вот последнее его стихотворение, которым кончается последняя тетрадь; написано 17 (30) июля 1927 года.

Подыши еще немного
Тяжким воздухом земным,
Бедный, слабый воин Бога
Странно-зыблемый, как дым.

Что Творцу твои страданья!
Кратче мига — сотни лет.
Вот одно воспоминанье,
Вот и памяти уж нет.

Страсти те же, что и ныне...
Кто-то любит пламя зорь...
Приближаясь к кончине,
Ты с Творцом твоим не спорь.

Бедный, слабый воин Бога,
Весь истаявший, как дым.
Подыши еще немнога
Тяжким воздухом земным.

Ну, вот, милый Борис Николаевич, написал Вам — и полегчало. Простите. Мало нас, ох, как мало остается; а новые поколения когда еще доживут и доработаются до своего Сологуба. Сологуба, как и Блока, надо заслужить; а это — работа поколений.

Надеюсь скоро написать Вам по-настоящему; сегодня только так, "заказное письмо". Трудно и тяжело мне очень и всячески, так хоть в письме отведешь душу. Письмо и стихи — только для вас и Клавдии Николаевны (ей — сердечный привет Варвары Николаевны и мой) и для тех немногих, кому захотите сообщить (Алексею Сергеевичу, — ему тоже искренний привет). Крепко обнимаю и целую Вас; будемте живы и пойдем, куда нам назначено. А Федору Кузьмичу — вечная память, и спасибо ему за все. Пусть не забывает нас, любящих его, если "там" — есть память.

Еще раз, целую крепко.

Всегда любящий Вас Р. Иванов



САША СОКОЛОВ (р. 1943, Оттава). С 1945 по 1975 жил в Москве; учился в Военном институте иностранных языков и МГУ. Первый роман Соколова *Школа для дураков* был опубликован Ардисом в 1976 году. Владимир Набоков так отзывался о нем: "очаровательная, трагическая и трогательнейшая книга". *Школа для дураков* переведена на английский, немецкий, голландский, итальянский и французский. **ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ** (р. 1932, Казань). Один из наиболее популярных русских писателей последнего двадцатилетия, автор таких повестей, как "Звездный билет", "Апельсины из Марокко", "Затворенная бочкотара", "Рандеву", и романа „Пора, мой друг, пора“. В 1975 году Аксенов руководил семинаром по русской литературе в Калифорнийском Университете Лос Анджелеса; его "американская проза" ("Круглые сутки нон-стоп") появилась в *Новом мире* в 1976 году. "Стальная птица" печатается здесь впервые, как на русском языке, так и вообще. **АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ** (р. 1947). Учился в Московском университете на историческом факультете и на факультете журналистики. Работал переводчиком, газетным репортером в Сибири и Казахстане, корректором в московском издательстве, театральным рабочим сцены, ночным сторожем. С 1975 года живет в Сан-Франциско. Его первая книга стихов *Сборник пьес для жизни соло* выйдет в свет в 1978 году. **БОРИС ЧИЧИБАИН** (р. 191?). Живет в Харькове. Был членом Союза писателей. Работал шофером такси, контролером трамвайного управления. Стихи Чичибабина довольно широко распространены самиздатом, но подробными сведениями об авторе мы не располагаем. **ИВАН ЕЛАГИН** (р. 1918, Владивосток). Преподает русскую литературу в университете в Питтсбурге. С 1947 по 1967 год опубликовал четыре книги стихов, большинство из которых, наряду с новыми вещами, вошли в его последнюю книгу *Под созвездием топора* (1976). В 1978 году Ардис выпустит в свет выполненный Елагиным перевод монументальной поэмы Стивена Винсента Бенэ *Тело Джона Брауна*. **СТИВЕН ВИНСЕНТ БЕНЭ (1898-1943)**. Поэт, автор рассказов и романов. Наиболее известен его рассказ "Дэниэл Вебстер и чорт" (1937). Сборник стихов *Баллада в Вильяме Сикаморе* вышел в 1923 году, *Тигровая радость* — в 1925. Поэме *Тело*

Джона Брауна была присуждена Пулитцеровская премия. **МАРИАННА МУР** (р. 1887, Сент-Луис). Редактировала журнал *Дайэл (Циферблат)* 1925-29. В предисловии к ее *Избранным стихотворениям* (1935), Т. С. Элиот назвал Мур "наиболее состоявшейся поэтессой в современном англоязычном мире". **УИЛЬЯМ КАРЛОС УИЛЬЯМС** (1883-1963) был одновременно практикующим врачом и плодовитым поэтом, рассказчиком, драматургом, эссеистом и романистом. Его наиболее масштабная поэма *Патерсон* (1946-1951) получила Национальную книжную премию. **УОЛЛЕС СТИВЕНС** (1879-1955). Закончил юридическую школу в Гарварде. В течение тридцати лет весьма успешно работал администратором страховой компании. Его первая книга *Гармонь* (1923) вышла в свет, когда автору было 43 года. Тонкие сборнички 30-х годов, такие как *Идеи порядка* и *Человек с голубой гитарой*, укрепили его славу одного из лучших американских поэтов этого столетия. **РОБИНСОН ДЖЕФФЕРС** (1887-1962) – блестательный вундеркинд, восемнадцать лет окончивший университет, овладевший несколькими языками. Его место в американской литературе определяется раскатистым красноречием стихов, собранных в изданиях 20-30-х годов (*Женщина на Пойнт Сюр, Милый Иуда, Отдай сердце ястребам*). **ДЖОРДЖ ОРВЕЛЛ** (1903-1950). Английский романист, эссеист и критик. *Бирманские дни* (1934) – атака на британский империализм. Свою скитальческую жизнь после Бирмы Орвелл описал в *Один, без гроша в Париже и в Лондоне* (1933). Будучи социалистом, он много и сочувственно писал о рабочем классе; большинство писателей левого направления в 30-е годы подражали его стилю. *Посвящается Каталонии* (1938) – книга о Гражданской войне в Испании, в которой Орвелл сражался на стороне республиканцев. **ИОСИФ БРОДСКИЙ** (р. 1940, Ленинград) – поэт, приглашенный преподавать в Мичиганском университете. Основные сборники стихов – *Остановка в пустыне* (1970), *Конец прекрасной эпохи* и *Часть речи* (оба вышли в 1977 году, хотя первый включает в себя только стихи, написанные до 1972 года). Поэзия Бродского постоянно переводится почти на все европейские языки. **КЭТРИН ЭНН ПОРТЕР** (р. 1890, Индиэн Крик, Техас). Жила на Юго-Западе, в Кали-

форнии, во Франции, в Нью-Йорке и писала об этих краях. О Мексике она говорила, что это ее другая родина, там развертывается действие ее первых рассказов, появившихся в 1920-е годы. “Цвет иудина дерева” — самое знаменитое ее произведение; впервые этот рассказ напечатан в 1930 году в сборнике 1935 года *Цвет иудина дерева и другие рассказы*, который сделал писательнице известной. Среди ее произведений — повесть “Конь бледный, бледный всадник” (1939) и роман *Корабль дураков* (1962). Ее последняя вещь, *Зло, которому нет конца*, посвящена Сакко и Ванцетти. **ВЛАДИМИР КОЗЛОВСКИЙ** (р. 1947). Переводчик, историк. Окончил институт восточных языков в Москве. Живет в США. Несколько лет работает над составлением словаря русских жаргонов.

Ардис благодарит Г. Шмакова, который любезно предоставил нам письмо Пастернака к Юркуну, и профессор С. Рабиновича за разрешение опубликовать письмо Иванова-Разумника и фотографию Сологуба до их научной публикации со статьей профессора Рабиновича в Russian Literature Triquarterly, No. 15.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Саша Соколов, "Текст" — 7
В. Аксенов, "Стальная птица" — 25

СТИХИ

А. Цветков

"Природа слов тепла не лишена"	— 97
"Припомните случай Колумба"	— 98
"Я 'фита' в латинском наборе"	— 99
"В мокрых сумерках осенних"	— 100
<i>Звездная баллада</i>	— 101
<i>Меланхолическая баллада</i>	— 103
"Жил на свете мальчик детский"	— 105
"В перегретом мозгу не хватило диода"	— 106
"Эти женщины в окне"	— 107
<i>488-22-82</i>	— 108
"Время за полночь медленным камнем"	— 110
"Поставили гром на колеса"	— 111
"Трехцветную память, как варежку, свяжем"	— 112
"Как солнце в облаке тяжелом"	— 113
"Месяц медленного бега"	— 114
"Того, кто к шепоту привык"	— 115

Б. Чичибабин

"Я слишком долго начинался"	— 116
<i>Битва</i>	— 118
"Трепещу перед чудом господним"	— 119
"В январе на улицах вода"	— 121
"Есть поселок в Крыму"	— 123
<i>Весенний дом</i>	— 125

<i>Постель</i> — 126
<i>Вечером с получки</i> — 127
<i>Махорка</i> — 128
<i>Верблюд</i> — 129
“Больная черепаха” — 130
“Сними с меня усталость, матерь Смерть” — 132

ПЕРЕВОДЫ

И. Елагин, Переводы из американской поэзии

Стивен Винсент Бенэ — 134

Марианна Мур — 137

Вильям Карлос Вильямс — 141

Уоллес Стивенс — 143

Робинсон Джейфферс — 148

Роберт Фрост — 152

Джордж Орвелл, “Убивая слона” (И. Бродский) — 153

Кэтрин Энн Портер, “Цвет иудина дерева”

(В. Козловский) — 163

АРХИВ

Г. А. Левинтон, Стихотворение Александра Ривина — 181

Б. Л. Пастернак, Письмо Юркуну — 189

Иванов-Разумник, Письмо Белому — 195

